



АЛЕКСАНДР
ПОКРОВСКИЙ

БЕГЕМОТ

PG
3485.2
K48
B45
1998

АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ
БЕГЕМОТ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАПРЕСС
1998

ББК 84.Р7

П 48

Редактор *Н.Кононов*
Художник *М.Покишишевская*

ISBN 5-87135-055-0



*Россия — единственное государство,
где можно сбыть мечту.*

*Астольф де Кюстин.
"Россия в 1839 году"*



МЕТАБОЛИЗМ



О героях — только незначительное.

*Максимы и мысли узника Св. Елены
Рукопись, найденная в бумагах Лас Каза*

МОЖНО НАЧАТЬ ТАК:

Я стою на скале лицом к морю, и плотный войлок моих чудных волос треплет северный ветер. А вода — вот же она — у самых ног.

Плещется.

Я раскидываю руки, словно пытаюсь обнять этот мир. В этот момент на меня наезжает камера, потому что меня снимают для истории.

Истории Российского флота, разумеется, потому что я уже внес кое-что в эту историю и еще — ого-го! — сколько еще внесу.

Камера продолжает наезжать.

Видно мое лицо крупным планом с раздувающимися ноздрями. “Это все мое, — говорят мои блестящие глаза, — мое, я все это охраняю.”

Я продолжаю стоять с голыми руками, с непокрытой головой, с блестящими глазами на совершенно голой скале.

Камера отъезжает.

Вид сверху: я превращаюсь в точку, затем скала превращается в точку, потом залив превращается в точку, за ним — море и вся планета.

МЕТАБОЛИЗМ

Идем мы домой с боевой службы.

Отбарабанили девяносто суток, и хорош, хватит.

Пусть им дальше козлы барабанят.

Подходим к нашим полигонам, а нам радио: следовать в такой-то квадрат и так куролесить суток десять.

И все сразу же настроились на дополнительные деньги.

Но командир нам разъяснил, что к деньгам это растяжение не имеет никакого отношения, боевую службу нам засчитают по старым срокам, а это — как отдельный дополнительный выход в полигоны.

И народ заскучал.

Видя такое в населении расстройство, командир вызывает доктора и говорит: “Так, медицина! Срочно найди какого-нибудь подходящего матроса, и чтоб у него сиюминутно разыгрался аппендицит. Тогда я дам радио, и нас сразу в базу вернут”.

И док немедленно нашел нужного матросика и сказал ему: “У тебя сиюминутно разыгрался аппендицит, но не бойся, на два дня ляжешь в госпиталь, а потом я за тобой приду”.

Сказано — сделано: мы радио — нас к пирсу. А на пирсе уже дежурная машина и дежурный военрез.

Док берет бутылку спирта и к нему: “Слушай! Вот тебе спирт. У парня ничего нет. Ты поддержи его два денечка, а там и колики пройдут”.

Но как только мы передаем тело, нас опять мордой в море, в тот же самый полигон, в котором мы не доходили.

Так что с ходу к мамкам попасть не получилось.

То есть ни женщин, ни денег.

То есть налицо горе.

Ну, естественно, с горя все напиваются, как последние свиньи.

Корабль плывет во главе с командованием, а на нем все лежат.

Зам, катаракта его посети, ходит по кораблю, проверяет бдительность несения ходовой вахты, а его в каждом отсеке встречают трупы, застывшие в разнообразных позах, а доктор его успокаивает — мол, это все из-за свежего воздуха: произошла активизация процессов метаболизма в организме, и организм с ней не справляется, вот и спит.

Зам терпел все эти бредни до последнего. До того, пока не обнаружил начхима, лежавшего на столе на боевом посту безо всякого волнового движения, а изо рта у начхима тухлыми ручейками вытекали его личные слюни. Я вам скажу по этому поводу, что лучше уссаться в кровать по случаю собственного дня рождения.

Зам вылетел с криком: "Начхим пьян, сволочь!" — и тут уж группе командования пришлось-таки заметить, что что-то действительно на корабле происходит.

Начхима вызвали в центральный, но по дороге ему изобрели легенду, по которой последние дни ему абсолютно не могло, совершенно не спалось и он у доктора выпросил сонных таблеток, ну и опять же, метаболизм...

— Какой, в монгольскую жопу, метаболизм?! — орал зам так, что за бортом было слышно, но все участники событий стояли на своем.

Зам орал, орал, а потом ушел в каюту и оттуда уже позвонил доктору:

— Что-то у меня голова разламывается, не могу уснуть. Дай чего-нибудь.

И доктор дал ему “чего-нибудь” ... особую наркотическую таблетку.

Зам как скушал ее, хвостатую, так сразу же упал головой в борщ, разломил тарелку и напустил слюней значительно больше, чем начхим.

И были те слюни и гуще, и жирней.

— Доктора! Доктора!— орали вестовые и таскали тело заместителя туда-сюда, спотыкаясь о вскрытые банки из-под тушенки.

Доктор явился и установил, что зам спит, а слюни у него из-за таблетки.

— Ну вот видишь,— говорил ему потом командир, — и у тебя слюни пошли.

ДЕМИДЫЧ

...У нас Демидыч в автономке помирал. Сорок два года. Сердце. Командир упросил его не всплывать, потому что это была наша первая автономка и возвращаться на базу ему не хотелось.

— Дотерпишь?

— Дотерплю...

И терпел.

Ему не хватало кислорода, и я снаряжал ему регенерационную установку прямо в изоляторе.

— Хорошо-то как, — говорил он и дышал, дышал. —

Посиди со мной.

И я садился с ним сидеть.

— Вот здесь болит.

И я массировал ему там, где болит.

— Помру, — говорил Демидыч, и я уверял его, что он дотянет.

— Ты человек хороший, вот ты мне и врешь; думаешь, я не чувствую?

А потом он мне начинал говорить, что крутом только и говорят о том, что раз я не пью, значит закладываю.

— Дураки, конечно, но ты смотри, они ведь подкапывать под тебя будут, чтоб действительно всех закладывал, ну ты знаешь, о ком я. Грязь это, Саня, какая это грязь. А ты... в общем, дай я тебя поцелую, чтоб у тебя все было хорошо... Вот и хорошо... хорошо...

И он, поцеловав меня в щеку, отворачивался.

Тяжело было к нему ходить.

Если я не приходил несколько дней, Демидыч всем жаловался:

— Химик ко мне не ходит...

“Ой, вы, горы дорогие, леса разлюбезные, дали синие, ветры злобные...” — как я где-то читал.

Я тогда читал всякую муть, потому что ничего особенного читать не позволялось.

А Демидыча хоронили уже на земле.

Дотянул.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Между прочим, один мой знакомый вышел на пенсию, в запас, и, стоя перед зеркалом с утра, решил, как водится, прыщик себе выдавить.

Выдавил прыщик с видимым удовольствием, уторм рядом с ним прихватил, ухмыльнулся, подмигнул себе и крякнул, а вечером помер от непонятной болезни.

Говорят, причиной столь мощного недомогания послужил тот самый прыщик, появившийся у него незадолго до выхода в запас.

А друзья на поминках вспоминали его по-разному, все больше с любовью, неизменно добавляя: "Ничего себе туй на лбу выдавил!"

И пенсия его пропала.

Вся отошла стране любимой, потому что до этого момента он как раз с женой развелся и поделил белье и чемоданы, а жена пробовала потом восстановить свое отношение к его пенсии, собственно говоря, задним числом, но ничего у нее, по-моему, не получилось.

ВАЛЕРА

Валеру все время пытались убить. И не то чтобы это были люди — нет, скорее всего, так складывались обстоятельства.

Можно сказать, судьба, взяв в руки молоток, ходила за ним по пятам.

То он упадет с крыши двухэтажного дома в крыжовник, то полезет на старую березу за опятами, ко-

торых и без того вокруг на пнях сколько угодно, а потом сорвется с нее, да как гакнется задом о бревно, да так и останется в таком положении на некоторое время.

И все-то судьбе не удавалось уложить его на досочку, сделать по бокам бордюрики и прикрыть всю эту красоту сверху крышечкой.

Валера из всех испытаний выходил с улыбкой гуимпелена на устах сахарных. А в море, когда они всплыли перед носом американского авианосца, выходящего из базы Якасука — каково название, — их тут же одело жопкой на морду этому носорогу.

Винт вместе с гребным валом мигом вошел внутрь прочного корпуса, и образовалась дыра, в которую и трамвай безболезненно влезет.

А Валера в это время как раз наклонился, чтобы подобрать что-то с палубы, и вал с винтом прошли у него над головой.

Хорошо еще, что авианосец какое-то время нес нашу букашку на себе, а то б утонули, волосатой конечности дети, не приходя в сознание, тем более что на всем корабле все, что могло летать, летало какое-то время, а потом свет померк.

Но, слава богу, пришли в себя, задрали попку, или что там у них осталось, так, чтобы вода не сильно внутрь захлестывала. Приподнялись, утопив свой нос, изогнули спинку, как жуки пустыни перед метанием зловонной жидкости, и в таком исключительном положении дали радио, что, мол, случилось тут нечто этакое каверзное, может быть, даже небольшое повреждение суставов, но думаем, что сумеем все лик-

видировать сами и даже сможем своими силами добрести до базы.

А авианосец развернулся и пошел назад делать себе пластическую операцию.

Он пытался, конечно, предложить нашим свои услуги, но от помощи заклятого врага тут же отказались. Можно сказать, с энтузиазмом и возмущением отвергли.

И пошли они в базу сами.

Мать моя родила своевременно! Двое суток их носило по волнам без света, без пищи и с такой дырой в упомянутой заднице, что дрожь промежность пробирает, потому что вибрируют волосы.

А они все страшились доложить, что, мол, ничего не придумывается, люди, помогите. Наконец преодолели они этокое свое природное смущение, и полетело на далекую родину короткое сообщение о том, что утонем же скоро, едрит твою мать, дети звезды.

И немедленно, на всех порах, рывками, всех свободных от вахт — туда.

Туда, чтоб вас вспучило дохлыми раками! На помощь!

И довели бродяг за ноздрю до родного причала.

Только один Валера сошел на берег со счастливой улыбкой, и сказал он тогда фразу, не совсем, может быть, понятную окружающим: “Ну все, суки, теперь-то уж точно на берег спишут!”

И он был прав.

После этого всех списали на берег.

ПЕРЕСЧЕТ ЗУБОВ

Если тихонько подняться по ступенькам трапа со средней палубы, можно незаметненько заглянуть в центральный и посмотреть, что там происходит.

В середине центрального в кресле с огромной спинкой сидит старпом. Старпом спит. Он как только садится в кресло — немедленно засыпает.

Интересно, почему старпом спит на вахте?

Отвечаем: он спит, потому что здесь единственное место на корабле, где он не ощущает тревоги, тут он уверен в себе, в окружающих людях и механизмах, поэтому сел, дернулся два раза и отключился, и рот у него открывается так, что можно при желании пересчитать все его зубы — не выпали ли, все ли там, где надо.

Артюха — клоун центрального и в то же время старшина команды трюмных — регулярно это делает.

Присаживается рядом с открытым старпомовским ртом, улыбается потаенной улыбкой беременной женщины и начинает считать: “Раз, два, три, а где наш корявенький?”

Было бы неправильно сказать, если можно так выразиться, что весь центральный в восторге от этой затеи. У нее есть яростные противники и не менее жаркие почитатели.

Между ними всякий раз возникает спор: стоит ли считать старпому зубы или нет.

Некоторые утверждают, что среди серых будней автотомки это делать необходимо, мол, ничего так не будоражит кровь, как чувство опасности для ближнего —

а вдруг старпом захлопнет пасть, а Артюха не успеет выдернуть палец? Как он потом все объяснит?

Другие же, судя по выражению их лиц, готовы удавить Артюху и всегда пытаются это сделать, но бродяга начеку и удирает во все лопатки на свое законное место при малейшем намеке на преследование и там уже мерзко хихикает.

Все это возбуждает центральный и на какое-то время наполняет его жизнью. Особенно в ночные часы, когда кажется, что по кораблю ходят только призраки.

Вот мелькнула чья-то тень; оглянулся — нет никого.

И все так таинственно, и никак не отделаться от мысли, что за тобой наблюдают из щелей на подволоке, из-за электрошита.

Стоит еще открыть лючки в каюте, чтоб заглянуть на кабельные трассы. Они тянутся вдоль борта. Там пыль. Там прохладно, а в высоких широтах и холодно.

Скорее всего, здесь и обитают призраки.

Именно из всех этих щелей они являются по ночам в каюты и пугают людей во сне.

И еще они веселятся: усыпляют старпома в центральном и сообщают Артюхе желание пересчитать ему все его зубы.

ИДИЛЛИЯ

В последнее время мы с америкосами очень дружим.

Я имею в виду наш противолодочный корабль и их крейсер.

Так везде и ходим вместе, как привязанные. Держим дистанцию и все такое прочее.

А то потеряешься еще, не приведи Господь, ищи потом друг друга, нервы тратить.

Мы даже друг дружке издалека ручкой делаем — мол, привет, крапленые!

Идиллия, в общем.

На каждого охотника по жертве.

Боевая идиллия.

Но однажды эта наша идиллия оказалась прервана самым неожиданным образом. Как-то утром раздается из каюты командира: “Гады! Боевая тревога! Торпедная атака!”

Мама моя! Все обомлели, но потом — делать нечего — бросились: “Аппараты с правого борта товсь!” — звонки, прыжки, и уже дула развернули, и уже застыли у агрегатов.

Только кое-что осталось нажать.

Такую незначительную кнопочку.

Америкосы описались. Они даже сообразить не успели — повыскакивали на палубу кто в чем и орут: “Русские!” Не надо!”

Да нам и самим не хочется. А тут еще командир из каюты чего-то не появляется, чтоб управление огнем взять целиком на себя.

Пошли на цыпочках проверить, как он там. А он стоит посреди комнаты, неумная трахома, держит у уха кружку и говорит: "Готов нанести удар по оплоту мирового империализма".

С ума сошел, представляете!

Мы тихо попками дверь прикрыли и бегом торпедоров от торпед отгаскивать.

А америкосам проорали: "Ладно, мокренъкие, на сегодня прощаем!"

ПЕДИКЮР

Заму нашему никто никогда не делал педикюр.

Это не могло продолжаться до бесконечности.

Что-то должно было случиться.

И случилось: педикюр ему сделали крысы.

У нас на корвете крыс — тишкина прорва.

Они у помощника даже ботинки съели.

Те стояли у него под умывальником задумчиво задниками наружу, и когда помощник их поправить собрался, коровий племянник, и на себя потянул, то оказалось, что только задники у него и остались.

А у старпома, который забыл яблоко в кармане кителя, они сожрали весь китель, в смысле нижнюю его часть, пройдя насквозь от кармана до кармана.

Ну а замую сделали педикюр.

В тропиках у нас все ходят в трусах и сандалиях на босую ногу.

А у зама пятки, видимо, свисали со стоптанных сандалет и касались пола, пропитанные всякими аромата-

ми. Особенно на камбузе, где зам любил у котлов задержаться, можно было многое на них насобирать.

Сами понимаете, зам у нас ног не моет.

А спит он у нас очень сладко.

Собственно говоря, как всякий зам.

Вот ему крысы ноги-то и помыли,

а заодно и соскоблили нежно.

Он даже не проснулся.

А когда проснулся, то обнаружил, что кожа на подошвах стала тоньше папиросной бумаги и ходить больно.

Смотрим, зам выползает на верхнюю палубу в белых носках и ходит как-то странно — все на цыпочках, на цыпочках.

А Вовка Драчиков как увидел это безобразие, так нам и говорит:

— Давно я мечтал, дети, чтоб наш зам сошел с ума и в безумье своем сплясал танец маленьких лебедей.

ЛЮБОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Нет у нас памятника любви к государству.

Сама любовь есть, а вот памятника нет.

— А зачем вам памятник?

— Чтоб припасть.

— А зачем припадать?

— Чтобы любовью изойти.

— А зачем вам требуется изойти?

— А затем, что хранить ее вредно.

Как-то я видел старушек, у которых от долгого ношения в себе этой любви губы искривились и пена ржавая изо рта пошла.

И все это с такими всхлываниями и взбулькиваниями, что и вспомнить страшно.

Вот что бывает, если любовь есть, а излить ее не на кого.

Даже места такого нет. И приходишь куда-нибудь туда, где, как тебе кажется, помещается государство, и говоришь:

— Я к вам. Не ожидали? Государство — это вы?

А они говорят:

— Мы не государство. Мы — помещение.

То есть государство — это не помещение.

Что же оно тогда?

А когда я вспоминаю исторические примеры, то на ум приходит выражение одного французского короля: “Государство — это я!” и я сразу же проникаюсь уважением.

Вот человек! Не побоялся назвать себя государством.

Не побоялся принять на себя любовь, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А может, и у наших нужно только спросить:

— Люди! Вы случайно не государство?

— Нет, — говорят тебе, — мы только обязанности временно исполняем.

То есть государство — это что-то неуловимое, но необходимое, как всхлип после рыданий.

Вот поэтому нужен памятник.

Чтобы припасть.

ВОТ ОНИ

Вот они последствия полового голода.

Втиснули меня в автобус.

Меня— офицера с двумя сетками пищи и воды.

Втиснули и сжали со всех сторон.

А тут еще фуражку сзади с головы толкнули, и она полезла у меня вперед.

Ни черта не видно, и сделать ничего не могу, потому что руки у меня внизу вместе с сетками.

Я ее глазами, несомненно, поднимаю, а она ни в какую.

А правая рука упирается какой-то девушке в лобок, и она начинает об нее тереться.

И у меня сейчас же Герасим встал.

Я ему говорю про себя: “Ге-ра-сим! Ге-ра-сим!”, — а он становится все упорней.

А впереди ощущается зад мужчины, и он чувствует, что там у меня происходит, и ерзает, ерзает, чтобы обернуться ко мне возмущенно, но ничего у него не получается.

А у меня фуражка на глазах.

Можно, конечно, ему сказать: “Мужик, это потому, что я ничего не вижу”, — но это будет не вся правда.

Потому я ему шепчу: “Это не на тебя! Это не на тебя”.

СЦЕНА

Офицер опаздывает на службу.

Ему остается миновать только КПП перед входом в здание, чтоб очутиться на рабочем месте, и он влетает на него, запыхавшись, и напарывается на дежурного, который поставлен здесь записывать всех опоздавших.

Но опоздавший в звании капитана третьего ранга, и ему так не хочется попадать в списки, и потому он кривится, у него на лице страдания, как у хирургического больного.

Дежурный — старший лейтенант, и ему тоже неудобно, он не очень-то хочет записывать и, чтоб как-то выйти из положения, он начинает говорить:

— Видимо... по причине транспорта...

Понимаете ли, капитан третьего ранга даже не знает пока, по какой он причине опаздывает — не успел обзавестись, и он так радуется этой подсказке, что у него меняется лицо, и от этой быстрой смены он то ли всхлипывает, то ли всхлипывает, то ли после бега все еще не в себе. Он начинает говорить:

— А я... даже... вообще... а я-то... я-то думаю...

И тут медленно, не сразу, не в лоб, а исподволь — и это заметно по его внешности — он начинает понимать, что его записывать не собираются, что ему протягивают руку помощи, и вот он уже кашляет, а потом и каркает от радости:

— А я-то (кар)... я-то...

И вот уже неопишное счастье овладевает им в полной мере, с ним случается пароксизм, катарсис и все такое.

— Я-то... — хрипит он остатками воздуха в легких,
— я-то думаю...

И вот он уже смеется, потому что глупо, право дело, глупо же, хватается старлея за плечо и, наклонившись к его животу, задыхается от овладевшего им только что смеха:

— А я-то... я-то... — смех душит его. — Я-то (ха-ха)... ду...ма...ю... (хи-хи-хи)... а ты стоишь... здесь... (он надрывается, почти визжит) ро...ди...мый... ну ты и стой, давай, стой...

УТРЕННИЕ СУМЕРКИ

Мороз в тридцать градусов. Залив парит. От него отделяются серые лохмотья, готовые зацепиться за что угодно.

Из тумана торчит лодочный корпус. Рядом с трапом — вахтенный. На нем ватник, валенки, рукавицы, канадка, тулуп, а он все равно превратился в ледышку. На груди бесполезный автомат — он не сделает ни одного выстрела, хоть в лоб его убивай.

Отстоял два часа, и смены все нет. Внутри холодно до боли. Кажется, сейчас треснет на морозе. От остекленения он говорит только: “Суки”, и это беззвучно, одними губами.

Не дождавшись смены, он бросает пост и спускается в лодку. На последних ступеньках — ноги-то не гнутся — обрывается и вываливается в центральный пост. Звук такой, будто упало бревно.

В центральном все стихает, головы поворачиваются на звук. С утра угрожает проверка, и поэтому все напряжены, дежурный что-то только что читал. Он совсем забыл, что “верхушку” не меняли.

— Что, — говорит вахтенный, — сменить некому?.. Суки...

“Суки” вовсе не относится к офицеру. “Суки” — это вообще. Все все понимают, никто не в обиде.

С вахтенного сваливается автомат, и, не подбирая его, он исчезает в проруби трапа. Пошел в каюту.

— Петруша, — говорит дежурный своему помощнику, — Пахомова смена? Что? Я вам сейчас всем по роже настучу. Пулей чтоб был.

Все восстанавливается, уже нашли Пахомова, дали ему по шее, подобрали автомат.

— Петруша, — говорит дежурный, когда выдалась минутка, — у меня на пульте чайник. Налей этому козлу черненького, а то еще заболает.

Через несколько минут с кружкой кипятка в руке помощник находит вахтенного. Тот так и не добрался до койки. От тепла его развезло, он прислонился к косяку каюты и сомлел, и медленно так потек-потек по стеночке, пока не достиг пола, а там уже, не раздеваясь, повалился набок и затих.

Его сморил тот самый сон, во время которого можно трясти человека за шиворот, поднимать-опускать, шлепать его по щекам, а он будет только сопеть и слабо отбиваться, разводя руками, словно избавляется от паутины, или будто он вдробадан пьяным плавает в водоеме.

Он так и не раскроет глаз. Они у него склеены самым удивительным клеем на свете.

КЛОУН

Сколько себя помню — всегда валял дурака.

Так удобно, просто.

Лучший способ никого к себе не допускать — это прикидываться идиотом: шутить, балагурить, ломать комедию.

Они только сунутся к тебе, чтоб вывернуть твоё нутро наизнанку, а ты — хлоп! — и испарился.

Оставил вместо себя такого петрушку и исчез.

И они начинают его потрошить, а ты смеешься, наблюдая со стороны, как у них здорово все это получается.

А про себя думаешь: “Вот бараны! Я — настоящий — совсем не такой и не очень-то вам понравлюсь”.

Долго так продолжалось. Все считали меня за придурка, и всех это устраивало.

Вот только замначпо меня раскусил.

О-о-о, это была сказочная сволочь.

Он меня понял.

Он увидел меня.

Я ему поначалу предложил обычную схему: “дурак, ваше благородие!” — а он вдруг говорит: “А вы, Петровский, собственно говоря, совсем не тот, за кого вы себя выдаёте”.

И тут мне стало не по себе. Страшно стало, холодом обдало предстату, и засосало там, где и должно в таких случаях сосать.

И я понял, что вот сейчас-то меня и будут препарировать по-настоящему. Со знанием дела. Я почувствовал, что передо мной хирург, вдохновенный ма-

стер, умная, беспощадная бестия. И я буду стоять перед ним бестолочью, а он будет отрезать от меня по кусочку, разворачивать его и объяснять мне мое же устройство.

Внутреннее и неповторимое.

— Где вы тут у нас? — слышалось со стороны, и он открыл большую папку. — А... ну вот и почитаем...

И почитали.

Там были все мои выражения, и всякие такие слова, которые я давно забыл, но которые теперь вспомнил: точно, я их произносил.

Там был весь я.

С комментариями.

И хорошо подобран.

И понимал он меня правильно.

— А ведь вы нас ненавидите, — сказал он и объяснил эту свою мысль очень доходчиво.

Я вышел от него мокрый.

Снял шапку, вытер лицо и сказал только:

— Вот блядь, а?..

В РАЙОН ГЕЛЬСИНГФОРСА

Мамины кочки! Силы слабеют, ум помрачается, волосы липнут ко лбу и перо выпадает из рук, а глаза с некоторых пор никто не называет очами — только зенками.

И все это после того, как Леха Эйнштейн над Андрюшенькой подшутил.

У нас Леха, в общем-то, капитан-лейтенант, и служит он в учебном отряде подводного плавания, там же, где и мы, в сущности, чешем ляжку по утрам и от щедрот этой страны кормимся. И Андриюшенька Кузин — это наш боевой товарищ, может быть, даже слишком боевой, потому что просвистал нам уже все дыры наружные тем, что он здесь единственный натуральный моряк, а все прочие — зелень подкильная.

Как только встречаешь его на переходе между сортиром и камбузом, так он сразу же: “Наш учебный процесс — полное говно, и если б не я — единственный здесь натуральный моряк...” — удавить его мало. Так, знаете ли, и тянет иногда сомкнуть свои железные пальцы на его чувствительном горле или походя вырвать кадык. И не то чтобы мы против его собственных мореходных качеств — отнюдь, просто слышать это каждый день — крупное испытание для нашей природной доброты и нравственности (что-то из этих двух понятий я, по-моему, перепутал, ну да бог с ним).

А Эйнштейном Леху называют за то, что он с Лейтеного моста падал, и падал он не как все люди: в воду и насмерть, а головой вниз на проезжую часть под колеса проходящему транспорту, потому что пьян был, холера сиплая.

После того как его сложили и склеили, в нем немедленно обнаружилось замечательное чувство юмора и развилась способность подражать любому голосу.

Стояли тихие-тихие предновогодние сумерки. С неба вместо снега сыпалось что-то темное и мокрое, и мы сидели в учебном классе и пили за сухое и светлое.

Мы — офицеры, конечно, и как нам не пить, если командир нашего учебного отряда, капитан первого ранга Кулешов (А. А.), каждый божий день устраивает нам автономку у пирса, то есть доклад скалозубов (начальников, разумеется) в 22 часа, а развод блядей на ночь (офицеров, естественно) в 23. И начальников он принимает у себя в кабинете, сняв... не штаны, конечно же, как можно было так подумать!.. сняв китель, то есть пребывая перед подчиненными в конце рабочего дня по-семейному, в майке.

Так что с такой жизни мы сидим и пьем, и тут через окошко видим, как наша сволочь натуральная морская — Андрюшенька — с журналом через плац криволапит.

В дежурку пошел.

Он у нас сейчас дежурный, вот он и старается.

— Щас, мужики, — сказал Леха, приподнимаясь со своего места, — щас мы ему вкачаем экстракт алоэ, приправленный колючками африканской акации.

Потом он снял трубку телефона и попросил девушку соединить его с рубкой дежурного.

— Дежурный слушает, — немедленно заблеял Андрюша.

— Представляться надо, товарищ дежурный, — оборвал его Леха густым палубным басом, и мы все так и вздрогнули от такой перемены в его голосе, столько в нем было орудийного мяса. — Примите телефонограмму от оперативного базы.

— Есть!

— В связи с непрерывно ухудшающейся ледовой

обстановкой — (а за окнами дождь идет, какой там лед)... приказываю вверенными вам плавсредствами (это шлюпками что-ли?) организовать срочную эвакуацию имущества первого Адмиралтейского завода в район Гельсингфорса. Старшим на переходе назначаю капитана третьего ранга Кузина. Подписал: командующий. Кто принял?

— Капитан третьего ранга Кузин... — Андрюшенька так кажется задохнулся.

— А-а... Кузин. Вот вам и флаг в руки.

И в жопу тоже, — добавил Леха после того, как положил трубку, после чего мы снова сдвинули кружки.

Об Андрюшеньке никто больше не вспоминал. Ну пошутили и пошутили. Мало ли. Пошутили и забыли.

А Андрюша не забыл. Он аккуратненько списал телефонограмму в чистовой журнал и потащил ее начальнику штаба.

Начштаба у нас мужик умный, поэтому у него возник только один вопрос:

— А почему ты старшим на переходе?

— Видимо, Алексей Аркадьич, — тут Андрюха непременно надул свою грудь, — командующему известно, что я — натуральный моряк. Разрешите я сам командиру журнал отнесу.

— Нет. Это дело серьезное. Я сам отнесу.

И отнес. Командир (в майке, конечно) остановил доклад командиров подразделений и углубился в чтение текста:

— “В связи с ухудшением ледовой обстановки... вверенными вам плавсредствами... эвакуацию перво-

го Адмиралтейского... старшим... в район Гельсингфорса..." Слушай, а почему старшим назначили этого придурка?

— Видимо, командующему известно о его качествах...

— О каких его качествах известно командующему? Нам, например, известно, что он придурок. Какие еще у него обнаружены "качества"?

— Мореходные... наверное.

— Да-а?.. Нет, я командующему перезвоню. Ты пойдешь старшим. А кстати, у нас что, кроме первого Адмиралтейского завода есть еще и второй?

И тут все командиры подразделений, поскольку их оставили на время в покое, испытав необычайный прилив сил, начинают участвовать. Кто-то из них тут же сказал, что есть и второй, и третий Адмиралтейский завод.

— Так... а Гельсингфорс — это старое название чего? Зеленогорска что ли?

— Сестрорецка.

— Сестрорецк — это Чукокколо.

— Сами вы, мамаша, Чукокколо, тащите словарь.

Притащили словарь и оказалось: Гельсингфорс — это Хельсинки.

— А как же на дело посмотрят финны?

Установилась незначительная пауза. Командир должен был принять решение. И он его принял.

— Нужно звонить командующему.

— Уже двенадцатый час ночи, товарищ командир.

— Ну и что? Дело не терпит отлагательств. Здесь же целый комплекс мероприятий.

Командир взялся за трубу. Командующего на месте не оказалось. Оказалось, что он уже давно дома. Командующие иногда оказываются дома раньше своих подчиненных, обеспокоенных эвакуацией в район Гельсингфорса.

К телефону подошла жена. Она сказала, что командующий уже спит.

— Разбудите его, пожалуйста, скажите, это относительно эвакуации в район Гельсингфорса.

Потрясающе. Командующий в одно мгновение был у телефона.

— Товарищ командующий, — голос у командира стал как-то слишком тонок, — мы тут получили вашу телефонограмму относительно эвакуации и уже начали ее отрабатывать, и на настоящий момент у нас только один вопрос: как на это дело смотрит финская сторона.

Столь быстрой смены выражений на лице у командира никто не ожидал, и еще очевидцам показалось, что от него во все стороны перья отделились и полетели, отделились и полетели, а потом у него на лице медленно сделалось выражение — “я член забил в ту тушку туго”, и еще он вспотел всем телом, что без кителя было особенно заметно.

— Есть, товарищ командующий, — просипел командир сорвавшимся голосом, — есть к вам завтра к восьми утра, — и медленно положил трубку.

Установилась тишина, а потом он заорал, обретя заново голос, уже в полную силу:

— Где эта сука?!

“Эта сука” была рядом: Андрюша стоял за дверью, ожидая незамедлительного применения своим мореходным качествам.

И его применили.

Его одели на кол.

А нас — в двенадцать часов ночи — всех вывели на плац и построили в одну шеренгу, и специально назначенная комиссия заставляла каждого произносить: “В связи с ухудшением ледовой обстановки...”

А Андрюша слушал, чтоб по голосу установить, кто же ему звонил.

Так и не установили.

И Леху никто не выдал.

ВОСПОМИНАНИЯ О БАЛЕТЕ



Бестолковые умрут первыми.

Генрих Гиз.

"Записки 1572 года"

ДЕРЖИСЬ, ЛЕЙТЕНАНТ

Через пять минут он знал обо мне все: он знал, откуда, куда и зачем. За столиком в углу ресторана он сидел один, и меня подсадили к нему.

Я — лейтенант, только из училища, и он — капитан третьего ранга, тужурка, белая рубашка, холодное холерное лицо. Он пил и не пьянел. Когда я сказал ему, что не пью, он только кивнул и не стал приставать. Мне это понравилось, и мы разговорились. Вернее, говорил он, а я только слушал.

Ресторан уже перепился, женщин разобрали, и нам никто не мешал. Он говорил так, будто кому-то отвечал и тут же возвращался ко мне. Слова он говорил — как вколачивал, медленно и четко. Столько лет прошло, а я до сих пор помню его голос:

— ...Мерзавцы, какие мерзавцы, боже ты мой! И такая мразь меня поучает. Море видел только из окошка. И все это размеренно и чинно, на дистанции, сволота... но так всегда было: кто-то плавает, а кто-то пожинаяет... Ну и где же мы будем служить, а, лейтенант? Еще не знаешь. Просись на атомоходы, лейтенант. Если уж служить маме-Родине, так уж в самой како...

Правда, везде у нас така, но там хоть год за два идет. И через десять лет такой, с позволения сказать, жизни, когда пенсия будет у тебя в кармане, ты станешь говорить правду, лейтенант, тебя как прорвет, и слова отку-да-то найдутся нужные...

Через десять лет службы на лодках в офицере просыпается человеческое достоинство, так что просись на атомоходы, лейтенант...

Гниль подкильная, “вы знали, на что шли”. Семнадцатилетним пацаном я знал, на что шел? Изложите в условиях контракта, что я сделаю одиннадцать автономок, а это три года под водой; напишите в бумажке, что в течение восьми лет у меня не будет своего угла и я буду таскаться по знакомым, изложите, что меня будут кидать с корабля на корабль, из базы в базу, сообщите заранее, что меня, может быть, бросит жена, отнимет у меня моих детей, нарисуйте всю мою жизнь, и я посмотрю — стоит ли..

А кстати, где они вообще, условия контракта? Ты женат, лейтенант? Нет? Молодец, не торопись, но учти, лейтенант, казарма для офицера не кончается, даже если он вырвался на берег и снял женщину. Казарма кончается тогда, когда рядом с тобой любимая женщина и твои дети. А вот найти такую сумасшедшую, такую увечную, чтоб за просто так моталась за тобой десять лет по углам, нелегко. У нас жены в Дофе* на чемоданах сидят, пока их мужья, лейтенанты, высунув языки, ищут квартиры, чтоб переночевать; и по десять штук в одной комнатухе — пять лейтенантских пар; и детские коляски у нас могут по

* Доф — Дом офицеров флота.

ПКЗ** ездить, “вы знали, на что шли”, суки; роддома нет, бабы рожают на гинекологическом кресле, так их ковыряет бог знает кто... Вот так, лейтенант...

Служба бьет сразу копытом в глаз. И ты либо выживаешь — либо мозг вытекает по капле.

Жизнь, сверкающая издали, как твой воскресный костюм, на поверку занюхана и наполнена горловым воем забытых богом гарнизонов...

И в этой блевотине бытия растут только одни цветы, лейтенант, — цветы надежды.

А надеяться у нас можно. Это сколько вам угодно. Отчего бы не помечтать. У человека нельзя отнять его мечты, поэтому человек служит на флоте...

Лейтенант флота русского — это Иванушка-дурачок. Червяк не успел превратиться в бабочку, а ее уже иголкой — тык! И на десять лет в гербарий!.. Пока не облетит позолота...

Начало тускло, лейтенант, как вырванный глаз уснувшего карася. Хорошо, что ты не женат, оботрись сначала, пусть тебя одного помолотят мордой об стол, облупят романтику... И знай, лейтенант, что бы тебе ни говорили о долге, совести, чести — все это слова, и тот, кто их произносит, способен говорить о чужом долге, о чьей-то совести и о какой-то чести. Запомни: существует только твоя семья... Флот России, лейтенант, — явление драматичное и удивительное...

Флот оболган газетными щелкоперами, придворными проститутками, блюдолизами и шутами...

Флот унижен официальными сводками, обезличен, замазан, затерт; выпихнут крутыми ягодицами государ-

** ПК.З - плавказарма.

ственных мерзавцев на обочину империи и понукаем. И если армия — падчерица у государства, то флот — ее пащенок, пинками ему укажут его место...

Флот бесправен — окрики, угрозы, истерия, втаптывание, уничтожение по капле. Обезличка возведена в ранг принципа. Ты не принадлежишь себе. Тебя просто нет, лейтенант, нет! Офицер продан на двадцать пять лет. Это государственный крепостной! Вещь! Штатная единица! Это галерник, обвехованный со всех сторон; это великий немой, он уже издает звуки, но еще не ясно, какие; он возмущен, но пока не понятно, чем. Для него существует один свет в окошке — дмб*, ну, еще перевод, может быть... Есть еще уход в запас через суд офицерской чести, но чести на флоте нет, а значит, и суда нет, есть отвратительная каменья, где ты — главный скоморох.

Свободен в пределах веревки. Иногда вешаются. Так происходит естественный отбор — службе-кобыле нужен сильный самец.

Мичман на флоте — это продукт для непрерывного изумления. Незаконченный образец вождьеленного наемника, недоделанный по нашей бедности.

А матрос — это рабочая скотина. С ним можно сделать что угодно. При нем не церемонятся. Перед нижним можно даже раздеться, как перед платяным шкафом. Из матроса медленно, но верно выдавлиывается человек, выдавлиывается всем тем хаосом и кошмаром, в котором существует флот. Искалеченная психика вернувшегося с флота парня называется возмужанием, а всей этой мерзости присвоено звание “большой школы жизни” ...

* Дмб — демобилизация.

Человека на флоте нет! Есть люди для железа. И железо каждый день. Оно глупое, лейтенант, оно тебя высосет. Подотрутся и выкинут. Через десять лет тебя отпустят с флота — иди, переводись, но ты уже никому не нужен. Флот — это чудовище, пожирающее собственных детей. Прощай, лейтенант, ты хорошо слушаешь — во все глаза. Мы больше не увидимся. Я рад, что высказался. И хорошо, что ты не пьешь, лейтенант, я не знаю, правда, как там дальше у тебя сложится, но пока — хорошо. Не пей. Но учти — флот пьет. Непьющий подозрителен, к нему нужно присмотреться. И все-таки лучше не пей. Пьющим легко управлять — он всегда виноват. Всего не расскажешь, лейтенант, на это ушла бы целая жизнь. Держись, лейтенант, тебе еще все предстоит, у тебя все впереди.

Он бросил на стол деньги и вышел.

Я вышел позже. Заканчивался 1975 год.

У меня было все впереди.

КАПИТАН

Молодежь. Салаги. Что они понимают... Он не спит третью автономку. Третью! Совсем не спит. Паршин сходил четыре, не вынимая. Но он молодой, Паршин. Ему еще можно. По молодости все можно.

Нельзя спать на левом боку. Там сердце. Но там всегда снится жена...

Жена. Неужели люди когда-нибудь поймут друг друга? В третий раз одно и то же: кто-то высокий, в сапогах, топчет, давит что-то розовое, уродливое, маленькое,

скользкое. Это маленькое извивается, бьется, а раны тут же рубцуются, и урод пищит, тонко пищит...

Он кричал — не слышат, он стал бить оконные рамы; кулаком — раз, — и стекла в стороны... Проснулся оттого, что бился в переборку. Нельзя. Так нельзя. Нужно спать. Таблеток целая куча. Как люди спят по восемь часов подряд? Не понимаю. Уже год, как не понимаю, — целая груда — и ни в одном глазу.

Девяносто на шестьдесят. Давление. На собрании он чуть не упал. Плохо. Ноги ватные. Во рту язык. Сухой. Воздуха. Не было воздуха. Хорошо, что никто не заметил. Прошло.

Самая тяжелая в этом году первая. В первую автономку он ждал. Все время ждал. Сейчас тоже, но уже не так. А тогда...

Командующий сказал: "Жди". Сказал и пожалел, спохватился. Потом говорил какую-то чушь и прихватил за прическу. Старый дурак.

И он не спал. Ждал. Каждое всплытие. Людям не сказал, но все и так поняли. Все ждали.

Сигнал — и лодка вздрагивает, ракеты толкают ее. Одна за другой. Все! Хоть одна, но дойдет. Обязательно. Одной достаточно — снесет все. Сволочи. О, господи!

Психозы начались с середины. Он срывался на мелочах — бросался на всех подряд. Все тогда ждали. Было дело... Три автономки в году — это много. Много. Надо спать... спать. А у виска бьется: что-то должно случиться... что-то должно случиться...

Сколько раз он ловил себя: его успокаивает, если что-то случается и все обходится — сразу отпускает. Спать. Надо спать...

Тогда пришли — и сразу под погрузку ракет. И это вместо того чтоб по домам. Бабы мерзли... Начальник штаба орал на строй:

— Куда побежали!

А строй — мимо! Козел. К женам побежали. К семьям. Сам-то ты сколько капитанил? Одну? Ты, электровеник! Укатаешься еще. И не такие приходили. Он отпустил. Пусть хоть жен поцелуют. Люди же...

Не выводились. Всю ночь простояли у стацпирса. После часа ночи бегали втихаря домой отмечаться. А в шесть утра — назад.

Утром ушли. Проболтались без толку. Пришли. Догрузились — и опять в море на стрельбу.

Ту стрельбу он до сих пор помнит. Черт знает на чем мы в море ходим.

— Аварий-ная тревога! Поступление воды во второй!

— Чего орешь?! Много воды?

— Льет, товарищ командир! Крышку не дожало!

— Дождет! Должно дожать...

— Товарищ командир! Скорость вне предела!

Ему хотелось крикнуть: "Заткнись!"

Потом крутили атаку в кают-компании и помирили со смеху. Анекдот, но три балла есть.

По приходе он опять напился. По-черному. Никто ему ничего не сказал. Ни слова. Даже э т и. Они давно ему ничего не говорят. А раньше говорили. Раньше:

— Валерий Николаевич, вы не соответствуете высокому званию.

Ах ты гнида лощеная, болотная. Он не соответствует, да?

А этот выродок соответствует? Он всему соответствует, а я, значит, пьяница? Тринадцать автономок только командиром! А у этого хлыща грудь в орденах, как у кобеля на выставке! Это как?

Ладно. Не в орденах дело. Не за них служим. Но этот гад, оказывается, родину любит больше, страдает он, а Валерий Николаевич, пьянь залетная, ему мешает, гадит ему Валерий Николаевич!

Сволочи... Да ладно, все позади. Он тогда не мог не напиться. Сам не свой был. Люди, дети — все вокруг смеется, дышит; солнце — и все живы. Он привел всех домой. Всех. Он ждал всю автономку и не дождался. Слава богу. Как тут не напиться. А может, и можно было... А-а, ну их... к аллаху...

Опять погрузки — днем и ночью. Учение. Триста тысяч в Норвегии, у наших границ. Триста тысяч! И опять он ждал. Он теперь все время ждет. Не так, конечно, как в первую, но ждет...

В первый раз экипаж напился в первый же праздник. Второй раз — во второй. Повально. С залетами и ночевками в комендатуре. Комдив тогда ничего не сказал. Нет, сказал:

— Я же просил вас, Валерий Николаевич...

Хороший мужик комдив. Что толку с того, что он просил.

— Объясните людям, будет отдых, будет... потом... я обещаю...

Так когда же он будет, товарищ комдив? Во вторую загребли случайно. Некому было идти. Всегда идти некому...

Жена ему этого не простила. А он просто никак не

мог поверить, что в отпуске, — все шлялся по поселку, шлялся... Вот и дошлялся — загребли...

Очнулся в море с первой аварийной тревогой. Потом пришли и — снова в море загнали.

Море... Как он тогда сказал тому проверяющему: “У меня нет плохих офицеров”.

Правильно. Молодцы ребята. С этими можно — в окопы, в штыки, врукопашную... к черту на рога... эти не будут в спину... Мои ребята... Хотя и драть их надо... Всех надо драть... Спать... спать...

“Лодка, как космический корабль, в глубинах океана...” Где он это читал? Писатели! На пузо — и по трюмам! Ползать десять лет в дерьме! По уши! Потом пиши. Сколько хочешь. Если сможешь разговаривать с людьми, если захочешь разговаривать, а не просто кивать.

“Космический корабль”. Да-а, Солярис. Ночью только вахта — остальные по койкам. И корабль пуст. Переходы, переборки, трапы. Кажется. Это только кажется. Аварийная тревога — и повылетают в трусах. “Космический корабль”.

Сколько их было, аварийных тревог? Старое железо. “Наша старушка состарилась с нами”.

С рук до локтей — как кожу сняли. Чувствую. Все. Давно. Пять автономок назад началось: красное мясо, жилы, кровь пульсирует. И по металлу. И каждый шорох — в тело, как удар!

Хочется орать, бежать. В центральный. Кажется — вот сейчас надо бежать, вот сейчас...

Нель-зя. Нельзя, капитан. Ти-и-хо. Ле-е-жать. Ты просто устал. Ты спи, капитан, спи. Что это? Поче-

му крен? Спокойно — подвсплыли, вот и крен. Качает. Наверху — шторм. Атлантика. Лежа-а-ть, капитан.

Что-то должно случиться... Что-то должно... случиться... Тихо. Ничего не случится. Спать, капитан, спать...

Вахтенный внизу слишком быстро докладывает, волнуется. Ну-ка, какая смена? Где часы? 18 часов. Вторая смена — это Шишов, он всегда волнуется.

Спи, капитан, спи... надо спать. Только не на левом боку. Не на левом...

ПРОВЕРКА

Штаб. Проверка. На самом высоком уровне. На уровне главкома.

Все двери кабинетов закрыты. В кабинетах клерки из проверки. Роят клерки.

В коридорах прессованная тишина. Вымерло. У входа — дневальный по штабу. Открывается дверь, и входит контр-адмирал. Это инспектор, председатель, старший всей этой шайки проверяющих.

Дневальный:

— Смирно! Товарищ генерал-майор, дневальный по штабу матрос Козлов!

Представился.

Адмиралу показалось, что матрос оговорился.

— Вы что не различаете воинских званий?

— Никак нет! Различаю!

— Ну тогда представьтесь еще раз.

— Товарищ генерал-майор!..

Голос у Козлова такой звенящий, что слышно в каждом кабинете. В кабинетах замерло. Затаилось. Ждут.

— Вы что? — говорит адмирал. — Не знаете разницы между генералом и адмиралом?

— Знаю! — радостно кивает Козлов. Вид у него идиотский, от усердия он просто светится. — Адмиралы, — для убедительности Козлов машет рукой куда-то в форточку, — они ж всегда в море, а генералы, — энергичный кивок в сторону проверяющего, — они постоянно на берегу.

После этого пять минут в коридорах штаба было молчаливо, потом адмирал сказал: “Мда-а... ну что ж...” — а потом он перетрахал все стадо.

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Мы повезем молодое пополнение на Северный флот. Мы получили его в учебном отряде — в Кронштадтской учебке.

Принимали трое суток и закончили только сейчас. Теперь на плац строиться.

— По-рот-но! В колонну по четыре!.. Становись!

— Первая рота, становись!

— Вторая рота!..

— Третья рота!..

Пошли. Длиннющая черная колонна. Она похожа на гусеницу. Мы идем на паром.

Кронштадтский паром. В него помещаются четвереста пять человек стоймя. Сейчас их у нас примерно

столько же. Два часа в Ломоносове к нам присоединяются остальные. Всего будет тысяча. У нас эшелон.

Морозно. Когда мы приехали в Кронштадт, нас встретила теплынь, весна — залив в каше.

Сейчас холодный, требовательный ветер. Холод вползает внутрь. Мороз — это очень больно.

— Товарищи офицеры могут зайти в каюты!

Злые барашки пляшут по воде. Хорошо, что одели людей в шинели и шапки. Сами-то мы в пальто.

— Уплотниться! Должна войти “Волга”!

Раз должна, значит, войдет. Это “Волга” командующего. За рулем — мичман. Он смотрит через лобовое стекло на людей, как на стадо.

— Уплотниться! Принять влево! Плотнее встать! Кому сказано!

Уплотнились, но плохо — “Волга” не входит.

— Я сейчас кого-то буду уплотнять! Сейчас я вас уплотню!

Перед высоким каптри люди расступались волнами и сжимались, сжимались. Это не наш каптри, он из учебки, командир роты. Их здесь несколько — провожают эшелон.

Очень холодно. Даже товарищам офицерам, что забрались в каюты. Матросы просто прилипли друг к другу. Они будут стоять на ветру почти час.

Человек быстро привыкает к скотству. Нормальные человеческие отношения воспринимаются как слабость. Через час паром подошел к пирсу. Приехали.

— Сгружаться!

Люди выдавливаются на причал.

— В колонну по четыре...

— Первая рота, в колонну по четыре, становись!

— Вторая рота...

— Третья рота...

Сразу все смешалось, потерялось, заорало...

— Стой! Принять вправо! Разберитесь по взводам! Как вы здесь стоите?! Каждому встать в свою роту! Проверить людей!..

— Куда?! Стой, я сказал!

— Равня-йсь! Я сказал: “равняйсь”! Отставить! Равня-йсь! Одновременный поворот головы. Смир-но! В затылок чище выровняться! Я должен видеть только одну голову. Вольно! Походным... шагом... ма-рш!

Человеческая громада. Неужели мы ею управляем? Вперед по грязи...

Мы идем больше часа. Слева показался замок. Это замок Меншикова. Вокруг вековые ели.

Мы погрузимся в вагоны в Ломоносово-2. Гиблое место. Вокруг болота, сараи, заборы, дачи. Пришли на место в 21 час.

— Стой! Нале-во! Внимание, товарищи! Сейчас двадцать один ноль-ноль, через пятнадцать минут подадут эшелон. С мест не сходить. Можно курить. Сорокопудов — старший. Я пойду посмотрю, что там...

— Коля, Коля, где схема? Коля, где схема?

Комендант, старший лейтенант, бубнит в трубку. В помещении набилось — не продохнуть.

— Товарищи, невозможно работать.

Тетку, сидящую рядом с комендантом, никто не слушает.

— Коля, где схема? Что? В двадцать два ноль-ноль?

Это точно? У меня же люди, Коля...

Люди. Вагонов не было ни в 22, ни в 24, ни в 2 ночи. Стоим в болоте. Чавкает под ногами. По кочкам — иней.

— Внимание! Можно принять форму шесть. Опустите уши. Уши шапок опустить!

Кто-то разжег костры. В огонь летят заборы. Их ребра долго не распадаются. Ветер крутит золу. Тупое желание согреться. Ноги промокли и одеревенели...

— Коля, где схема? Что? Уже вышла?

В дежурке шевеление.

— Нет? А когда? Коля, они скоро замерзнут. Коля, скажи там... Они заборы разобрали. К трем часам? Это точно?

Комендант звонил каждые двадцать минут. Схемы нет — вагоны не готовы.

Вагоны... Так было всегда. Еще в русско-японскую... Верится в наши Вооруженные Силы по большой крови. Стоим в болоте уже пять часов.

В дежурке — битком. Закутанные офицеры. Счастливы сидят. Кто-то долго кашляет.

— Коля, Коля, где схема?

— Ползет твоя схема, ползет, как вошь... Скажи ему спасибо, этому Коле... Пусть он ее засунет себе в...

Фуражка полетела на стол. Тетка оскорбилась:

— А можно повежливее?

— Можно. У вас дети есть? Вот когда они попадут в армию, то начнут свою службу с такого же скотства. "Повежливей". Где вагоны? Пять часов на морозе, в болоте. Где вагоны, я спрашиваю?

— Я за них не отвечаю.

— А за что вы отвечаете? Для чего вы здесь сидите? Кто у вас за что отвечает? Кричите в телефоны, обрывайте трубки, поднимайте с коек, вытряхивайте. Был бы у меня спирт. Ведро спирта. Я добыл бы вагоны. Или автомат. Перестрелял бы вас всех на железной дороге к едре-не матери. И привез бы сюда вашу схему. Лучшие вагоны бы прицепили. Тысяча людей замерзает в болоте.

— Но офицеры-то здесь...

— А вы не расстраивайтесь, я зашел на вас посмотреть. Моя воля — выгнал бы вас на мороз... Проветрились бы...

Люди жались друг к другу и к кострам. Офицеров уже не замечали. Впервые увидел, как у человека замерзают глаза — они становятся неподвижными.

— Товарищ капитан третьего ранга, а поедем скоро?

— Скоро, ребята, скоро, потерпите.

Проклятое пальто. Шинель бы. Уже четыре утра. Когда же это кончится?..

— Ва!-го!-ны!!!

Из темноты быстро надвигалось что-то огромное. Состав. Вагоны. Наконец-то.

— Стой!!!

Вагоны останавливаются с лязгом. Люди бросаются, карабкаются, толкают, лезут, давят, сейчас передавят друг друга.

— Смир-на!!! На-зад!!! Я ска-зал, назад!!! Построиться! Я кому сказал — становись! Равняйся! Смир-на!!! Вот так. Вольно! Спокойно, ребята. Справа... в колонну по одному... к вагону... марш!

Вагоны не годны к перевозке. Они списаны — без света, без тепла, без воды, без электричества, без унита-

зов — вместо унитазов дыры в полу. Матрасы, подушки, полки.

— Разбирать матрасы и подушки!

Дернуло. Кто-то упал с подушкой на пол, как подрубленный. Хорошо, что головой не задел об полку.

— Осторожно в проходах. Раскладываться. В каждом купе — по восемь человек. Верхние полки тоже занимать... Я же сказал, по восемь, а не по шесть. Что непонятно? Чем слушаете — неизвестно. Ложиться и спать.

Падали и засыпали в шинелях. Поехали... Утро. Где я? Затылок ломит. Стекло треснуто, вот и надуло через него. Питьевой воды нет. Где-то нацедили с ведро. Пахла она отвратительно. Носили ее по всему составу — кто хотел — пил. Паек ели всухомятку. Потом разжились водой на станции. Через сутки появилось тепло — умудрились растопить печку...

На Север приехали через двое суток. В товарном закутке сгружались в грязь. В одном вагоне не хватило подушки. Проводник канючил. Сам наверняка и украл.

— Да пошли ты его... Что, не знаешь, куда?

— Да пошел ты, кура вареная.

Встречал нас какой-то каприз. Он уставился в мою двухдневную щетину.

— А у вас, товарищ капитан третьего ранга, что, времени не хватило побриться?

Я сдержался.

— Вагоны, товарищ капитан первого ранга, не оборудованы ни электричеством, ни водой.

— Вот когда я командовал противолодочным кораблем...

Я не дослушал, что же тогда стряслось во Вселенной, когда он командовал кораблем, повернулся и ушел.

— Это кто? — беспомощно оглянулся он на старпома.

— Да это... — долетело до меня.

— Равняйся! Смир-но! Прямо, шагом марш!

Огромная черная гусеница по зачавканной дороге поползла на Флот. Тысяча человек. Слава богу, довезли живьем. Теперь сдать бы их побыстрей...

НАЙДА

Щенята родились ночью, а утром счастливая мать разлеглась на верхней палубе, позволяя всем вдоволь ими налюбоваться.

Их было ровно семь — маленьких серых комочков. Они жадно сосали набухшие материнские соски, упираясь в живот матери игрушечными коготочками.

Глаза Найды светились теплым материнством. Все матери смотрят на своих детенышей одинаково: с гордостью и любовью.

Малыши, наевшись, заснули, тесно прижавшись друг к другу и к теплomu маминому боку.

Весеннее солнце высоко стояло над горизонтом. Моряки обступили Найду, улыбки бродили по их лицам.

— Так, ну-ка, — к Найде протиснулся боцман, — ишь ты, спят. Топить надо.

— Зачем?

— А чего ж их, разводить, что ли? — с этими словами боцман, наклонившись, стрёб всех малышей одной пятерней. — Вот та-ак...

Малыши посыпались за борт.

Найда вскочила, заметалась, запекала, засуегилась. Она виновато совалась к каждому, заглядывала в руки, скулила. Моряки отворачивались. Найда искала, искала и вдруг остановилась как вкопанная — она поняла. Шерсть на ней вздыбилась, широко открывшиеся глаза остановились, потухли; пасть открылась, из нее медленно выполз язык — она захрипела.

Саша Белов — маленький тшедушный матросик — не выдержал:

— Товарищ мичман! Разрешите достать! Они еще плавают! Я быстро, товарищ мичман, я сейчас, я сейчас... я быстро... я уже... я уже...

Он рванул голландку вместе с тельняшкой и бросился за борт. Достал он двоих. Они уже не дышали. Найда бросилась к ним, лизала, толкала... потом замерла. Крупная дрожь шла по всему ее телу; розовая пена переполняла пасть и капала, капала на теплую, нагретую весенним солнцем палубу. Саша медленно подбирался к боцману.

— Вы не человек! Вы — никто! Никто!

Его схватили за руки.

— Не-на-ви-жу!!! — забился он в руках. — Ненавижу всех! Всех — ненавижу! Всю жизнь! Ненавижу!!!

Вечером на ют никто не пошел.

Там все еще стояла Найда.

Утром она умерла.

Она лежала головой к морю на покрытой росой верхней палубе, рядом с тем местом, где она родила своих детей.

ЛЮСТРА

Самовольная отлучка для курсанта — всегда волнующее событие; широко распахнутые ноздри самовольщика вдыхают не воздух, они вдыхают огромный объем информации; мозг его работает на пределе, чувства все обострены, пропасть отделяет его от остального, некрадущегося человечества, и только эта пропасть позволяет оценить жизнь во всей ее неповторимой сладости...

В темноту чердака снизу ворвался столб света; в открытом люке показалась голова; голова осторожно повертелась.

— Поехали, — куда-то вниз зашипела голова и втащила за собой оставшееся тело; за первым телом скользнуло второе и так же, как и первое, беззвучно растворилось в чердачной черноте.

Крышка люка с шумом захлопнулась, в наступившей затем тишине кто-то чихнул, тихонько ругнулся и прошипел:

- А нас не поймают?
- Все бетонно, здесь еще никто не ходил.
- А вдруг нас поймают?
- Не хочешь, не иди — “поймают — не поймают”.
- А все-таки интересно, что будет, если поймают?
- Очень.
- Что “очень”?
- Очень интересно.

Голоса двинулись к чердачному окну; в середине чердака что-то стояло, это “что-то” сплошь состояло из блоков и цепей.

- Чего это?

— А черт его знает.

— Давай посмотрим?

Стопор лебедки, как выяснилось много позже, рас-
стопорился почти что сам собой. Тяжелая цепь пришла
в движение и в страшном грохоте рухнула куда-то вниз.
Через мгновение кончилась цепь и кончился грохот. Мед-
ленно оседала тяжелая, вековая пыль.

— Чего это она, а?

— Не видишь, грохнулась.

— Может, поднимем назад, как было?

— Офонарел? Она, может, тонну весит. Пусть кому
надо, тот и поднимает, мотаем отсюда.

Прямо над ученым столом, далеко вверху, как крона
баобаба, висела многопудовая хрустальная люстра ста-
ринной ручной работы.

Шло заседание ученого совета. Председательствовал
в этом букете ученых старенький капитан первого ран-
га, всеми уважаемый профессор, удивительно похожий
на белую реликтовую мышь.

Слово для доклада получил химик. Матовые лыси-
ны пришли в движение; букет ученых зашевелился,
стараясь поточней принять форму кресел, успокоился
наконец и вскоре отработанно завял, впав в тотальную
дремоту.

Химик, слишком восторженный для своей профес-
сии, пристегнул к безобиднейшей теме такую область
человеческой мысли, где, однажды потерявшись, мож-
но брести годами. Он влез в физическую химию, все
еще полную белых пятен, и заговорил с нарастающим
жаром об энтальпиях, энтропиях и снова об энталь-
пиях.

Ученые, с каждой новой минутой все более походившие на сытых рептилий, мягко дурели. То один из них, то другой приходил в себя и с удовольствием наблюдал, как все-таки любит химик свое дело, которое на флоте давно перестало считаться специальностью.

Люстра качнулась и, предупредительно звякнув, с нарастающим свистом, увлекая за собой окружающий воздух, бросилась вниз, разматывая тяжелую цепь.

В мозгу человека, как учит нас медицина, есть область, которая никогда не спит и сторожит человеческую жизнь.

Ученые очнулись в сотую долю секунды и еще сотую долю барахтались, освобождаясь от цепких объятий своих кресел.

Химик, промочив штаны себе и двум соседям, махнул через мышковидного председателя и первым вылетел, открыв собой ту половину двери, которая никогда до этого не открывалась. Остальные хором бросились за ним, сгребая друг друга. Волна ученых плеснула в дверь и вынесла на своем гребне застрявшего в кресле председателя. По дороге ему, чтоб не очень упирался, дали в глаз, отдавили руки и почти начисто оторвали ухо.

Люстра, страхнув с ветвей хрустальные лепестки, остановилась в двадцати сантиметрах от осиротелого стола, дрожа и мелодично позванивая. На столе громоздилась хрустальная россыпь.

В вестибюле, куда выплеснулись ученые, стало душно, шумно и кисло от пережитого, а перед распахнутой настежь дверью, в кресле, сидел брошенный, обмякший, сильно постаревший председатель.

Голова его съехала набок, рот был полуоткрыт, на-

полненная кровью бровь совсем закрыла подбитый глаз, а через другой, целый глаз недобитый председатель нескончаемо смотрел на весь этот новый, яркий, чудесный, удивительно вкусный мир, смотрел, и не мог насмотреться.

НЕЛЬЗЯ БЕЗ ШУТКИ

На флоте нельзя без шутки. У нас постоянно шутят. У нас так шутят, что порой не установить, когда у нас шутят, а когда не шутят. Из-за того, что у нас так шутят, мы шизофреников не можем вовремя определить и отсеять. Все нам кажется, что это они так шутят.

Матрос у нас был. Тот во время организованного просмотра программы “Время” мыльницу к уху прикладывал и говорил:

— Т-с-с... тихо! Шпионы... кругом шпионы. Я принимаю их сигналы.

Все думали, что он шутит, а он свихнулся. Только через полгода разобрались.

Другой ходил по кубрику во время передачи “Служу Советскому Союзу” и лаял. Оказалось — тоже... не совсем...

Третий от портретов членов Политбюро мух вроде как отгонял:

— Кыш! — говорил. — Пернатые! Гениев обгадите!

Списали подчистую. Дали мичмана для сопровождения его на родину. Спешили так, что мичмана выдернули прямо из суточного наряда.

ЗЕРНО ЛОМБАРДНОЕ

Матрос Вова Квочкин, маленький, шупленький паренек, негодяй, разгильдяй и фантастическая сволочь, подал рапорт по команде о своем желании поступить в Высшее политическое училище в городе-герое Киеве. Зам подмахнул не глядя его каракули и срочно оттащил рапорт к начальнику политотдела, который еще неделю назад вещал и вызывал ко всем заместителям по поводу проведения среди личного состава необходимой работы на предмет поступления в Высшее училище замполитов в городе Киеве. Время уходило, план срывался, а кандидатов не наблюдалось. Рапорт Квочкина явился как нельзя более кстати. Конечно, он не поступит, но массовость создаст.

Начпо второпях прочитал только первую строчку рапорта, написанного корявым почерком первоклассника, и заметил только, что курица левой лапой написала бы лучше. Одолев только одну строчку из всей бумаги, начпо совершенно потерял терпение, подмахнул рапорт и пошел к комдиву.

— Вот, Александр Александрович, — сказал начпо комдиву и протянул ему рапорт торжественно, как принц руку для целования, — люди желают учиться в политическом училище.

Комдив надел очки, горестно вздохнул, сел в кресло поудобней и неторопливо погрузился в писанину.

Он всегда неторопливо, до последней запятой читал то, что визировал.

Прочитав, комдив с интересом глянул на начпо снизу вверх, снял очки, вытер глаза, сделал на лице скорбь и сказал:

— А ты небось до конца-то опять не прочитал, а?

— А чего там? — Начпо забеспокоился, взял рапорт и начал читать: — Прошу направить меня для поступления в Киевское училище... так, ну и что?

— Дальше, дальше...

— Так как я хочу стать политработником...

— Еще дальше...

— Носителем наших идеалов...

— Дальше...

— И стоять у распределения материальных благ...

— Вот оно! — сказал комдив. — Вот оно, зерно ломбардное. Прикажете сплясать? Это тебе не лифчики по командиршам распределять.

Начпо налился соком и прошипел:

— От, с к о т и н а !

— Вот именно, — сказал комдив и тут же перестал интересоваться начпо. Дел было по горло.

ДЕЖУРНОЕ ТЕЛО НА СТАРТЕ

Ах, какие у меня были бицепсы в моей лейтенантской юности, бицепсы, трицепсы, большая мужская мышца спины, и все это на месте, и все это вовремя упаковано в мануфактуру, а где надо — выпирало-вылезало-обнажалось и играло рельефно с золотистым загаром в окружающей полировке и в стеклах витрин.

Но спорт на флоте — тема печальная.

Сейчас расскажу вам две истории, в которых я выступал дежурным телом на старте, и вам все станет ясно.

История первая

Как только я попал на флот, старпом подозрительно уставился на мои выпуклости и выдал сакраментальное:

— Спортсмен что ли?

Надо же так влет угадать! Весело:

— Так точно!

— Лучше б ты алкоголиком был. Лучше иметь двух алкоголиков, чем одного спортсмена.

— Почему, товарищ капитан второго ранга?

— Потому что я за тебя служить буду, а ты будешь на сборах ряшку отъедать. Каким видом-то хоть занимался?

— Всеми подряд.

— Уйди, — скривился старпом, — убью!

Он знал, о чем говорит. Через два часа после моего легендарного прибытия на флот меня уже отыскал врио флагманского физкультурника — временный флагманский “мускул”.

— Плаваешь? — спросил он.

— Да! — ответил я.

— Только честно, а то тут один тоже сказал “да”. Я его поставил на четыреста метров, так еле потом уловили с баграми. Значит, так! Будешь участвовать в офицерском многоборье, там плавание, бег полторы тысячи, стрельба и гимнастика.

— А что там по гимнастике надо делать? — я где-то ватерполист и к гимнастике подхожу бережно.

— Да, ерунда! Перекладина, на махе вперед выход в упор вразножку, потом перехват, ну и потом по инерции, сам увидишь по ходу дела.

— А потренироваться?

— Какие тренировки? Ты же из училища, здоровый как бык! Как твоя фамилия? Записываю! Потренироваться ему нужно, хе-х! На флоте не тренируются!

— И все?

— Что “все”?

— По гимнастике, перекладина и все?

— А-а... ну, брусья, там, через коня, по-моему, прыгнуть придется.

— А через коня как?

— Ну, ты даешь! Что, в школе никогда не прыгал?

— Прыгал, — сказал я и застеснялся и подумал: “Ну, прыгну как-нибудь там”.

Проплыть я проплыл. На перекладине на махе вперед по инерции я сделал что-то такое обезьянье разухабистое, что судьи поперхнулись, а один — так глубоко, что чуть не умер.

— Переходите к коню, — сказали мне хрипло, когда откашлялись, и я перешел.

Через коня перед нами прыгали совсем маленькие девочки: сальто-мортале там всякие, с поворотами, а за конем простиралось огромное зеркало, создающее иллюзию бесконечности нашего спортивного зала.

Мостик отодвинули. Я подсчитал: три метра до коня, конь — метра два будет — итого пять метров по воздуху. Ничего себе лететь!

Первым полетел волосатый грузин.

Он до прыжка все разминался, смеялся и говорил мне “генацвали”. Он разбежался как-то не по-человечески мелко, оттолкнулся от мостика, прыгнул и не долетел, и со всего размаху — зад выше головы — враз-

ножку, чвакнув, сел на коня.

И запрыгал по нему, и запрыгал.

Молча.

Голос у него отнялся.

Второй, видя что произошло с первым, но уже разбежавшись — не остановить, споткнулся о мостик и, падая, на подгибающихся ногах домчался до коня и протаранил его головой.

Наши офицерские старты называют почему-то веселыми.

Не знаю почему.

Потом прыгал я.

Имея перед собой два таких замечательных, героических примера, я разбежался, как только мог, оттолкнулся и полетел.

Летел я так здорово, что дельтаплан в сравнении со мной выглядел бы жалким летающим кутенком.

И приземлился я очень удачно.

Прогнувшись, с целым копчиком.

— Все хорошо, — сказали мне с уважением, пораженные моим полетом, — только о козла обязательно нужно руками ударить и, раскрывшись, оттолкнуться и соскочить. Давай еще разочек.

И на всякий случай поставили на той стороне коня, куда я должен был прилететь, двух страхующих — суровых ребят, старых капитанов, с челюстями бейсболистов, чтоб я в зеркало не улетел.

Настроение у меня отличное, опять разбегаюсь — получилось еще сильнее, чем в прошлый раз, оттолкнулся, лечу и все время думаю, чтоб двумя ручонками об кончик коня шлепнуть и раскрыться, долетаю,

об кончик — шлеп! — двумя ручками и, прогнувшись, приземлился, раскрылся и... сгреб обоих бейсболистов.

Я остался на месте, а они улетели в зеркало, создающее иллюзию бесконечности нашего спортивного зала.

Звук от этого дела был такой, как будто хрящ разгрызли. И осели они, оставляя на зеркале мутные потоки мозговой жидкости.

— А я еще на брусьях могу, — сказал я в наступившей тишине, чтоб хоть как-то скрасить изображение обстановки.

— Не надо, — сказали мне, когда очнулись, — и без тебя будет кому брусья развалить, — и сняли меня с соревнования, до стрельбы из пистолета меня не допустили.

Наверное, боялись, что я им чемпионов перестреляю.

История вторая

— А вам приказываю встать на лыжи!

Это мой старпом, спешите видеть. Мысль о том, что я с юга, что там снега не бывает и что я не умею стоять на лыжах, показалась ему идиотской. То, что я спортсмен, старпома непрестанно раздражало, и тут вдруг не умею ходить на лыжах, когда приказывают ходить, — саботаж!

Бежать нужно было всем экипажем. Десять километров. Сдача зимних норм ВСК. Весь экипаж собрался у Дофа, разобрал эти лыжные дрова — широчайшие лыжи "турист", и вот тут выяснилось, что я вообще не могу стоять на лыжах.

— А что на них "уметь стоять"? Да я вам глаз высосу! Встать на лыжи, я кому сказал?! Да я тебя с дерьмом сожру!

Насчет дерьма вы можете быть абсолютно спокойны — наш старпом сожрет и не такое, а уж если отдаст приказание, то будет жать, пока лоб не треснет, в смысле, мой, конечно, а не его, у него там монолит.

— Повторите приказание!

— Есть встать на лыжи! А можно я с ними на плече пробегу, товарищ капитан второго ранга? Ну, ей богу, не могу!

— Нет, вы послушайте его! Лейтенант разговаривает! Говорящий лейтенант! Он хочет, чтоб я рехнулся! Вы что, перегрелись? А? Пещеры принцессы Савской! Что вы мне тут вешаете яйца на забор?! Я приказал встать на лыжи!

— Есть!

— Вот так! Ты меня выведешь из себя! Я тебе... Одевай лыжи немедленно!

— Есть!

— И репетуйте, товарищ лейтенант, репетуйте команды, приучайтесь! Получили приказание — репетуйте: “Есть! Встать! На лыжи!” Встал — соответственно доложил: “Встал на лыжи!” Взял в руки палки — доложил: “Взял палки!” Воткнул их в землю — доложил! Привыкайте, товарищ лейтенант! Вы на ф л о т е! На флоте!!! А не у мамы за пазухой, вправо от вкусной сиси!

И начал я вспоминать, как там в телевизоре у лыжников на лыжах получалось плавно.

В общем, я встал, взял, воткнул, отрепетовал, оттолкнулся, доложил и упал, ноги сами разошлись, и получился шпагат.

Ну, шпагат-то я делать тогда умел, я себе ничего там не порвал, только штаны, меня собрали, постави-

ли и под локотки, по приказанию старпома, понесли на старт.

Несут, хохочут, потом отпустили меня, а там горка, и я с горки покатился, а навстречу — самосвал с военном-строителем из Казахстана.

Воин-строитель, он умеет ехать только прямо, свернуть он не может, его посадили за руль, где-чего-надо нажали, включили, и он поехал.

Это я знал.

Чувствую, что мы с ним непременно встретимся.

Пришлось мне падать вбок.

Подняли меня, донесли наконец до старта и поставили там.

— Ладно, Ромен Роллан, — говорит старпом, — слазь, верю.

— Не могу, — говорю, — у меня, товарищ капитан второго ранга, уже возникло чувство дистанции. Лыжи отберете — так побегу. Не могу я теперь — дрожу от нетерпенья!

— Черт с тобой! — говорит старпом — Держись лыжни. Что такое лыжня — понимаешь? Это колея, ясно? — я кивнул. — Там еще флажки будут. Давай!

На десять километров отводится час, я гулял три.

Перед каждой горкой я снимал лыжи и шел в нее пешком.

Все давно уже убежали вперед, а я держался колеи, и вдруг она разошлась веером, а спросить не у кого.

Я выбрал самую жирную колею и пошел по ней.

Колея вела, вела и довела до обрыва.

Метров восемьдесят.

Внизу — залив.

А за мной увязался такой же, как и я, южанин, но какой-то безропотный: ему сказали — иди, он молча встал на лыжи и пошел.

— Что делать будем? — спросил безропотный затравленно.

— Как что, прыгать будем! — и не успел я так пошутить, как он горестно вздохнул и прыгнул.

Я охнул, и мои лыжи вместе со мной сами поехали за ним в пропасть.

Как мы до земли долетели, я не знаю.

Я глаза закрыл, где-то там спружинил...

Я потом водил всех к этому обрыву и показывал, у всех слюна пересыхала.

Выбирались мы долго, тут еще пурга разыгралась. Старпом никого не распускал, пока мы не найдемся. Он посылал группы поиска и захвата, но они возвращались ни с чем. Наконец кто-то увидел нас в объятьях пурги.

— Вон они! Эти козлы!

— Где? Где? — заволновался народ.

Все-таки в народе нашем не развито чувство сострадания.

Двадцать минут народ говорил про нас разные громкие слова, потом старпом всех распустил по домам, и сам ушел, оставив одного замерзающего лейтенанта дожидаться нас.

Когда мы, раскрасневшиеся и свежие, подошли к Дофу, там стояло это жалкое подобие.

— Ну как дела? — спросил я его.

— Нормаль-но, — выговорил он и тут же замерз.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Рио-де-Жанейро.

Наши корабли в Бразилии с дружеским визитом.

Жарко.

Хочется выпрыгнуть из белых штанов и нырнуть в грязную портовую воду.

На центральных улицах громадные стекла витрин обещают прохладу и зовут.

Рекламы, улыбки продавцов, которые рады тебе уже только потому, что ты есть, и счастливы, если ты что-нибудь купишь.

Длинные ряды публичных домов. Тут свои законы и свои зазывалы.

В городе без офицера нельзя. Наши бродят стайками, но все возможные ситуации уже расписаны и отрепетированы, и старшие чувствуют себя неплохо в этом раскаленном каменном мешке.

Один из моряков, поотстав, уставился на голую девицу, выставленную в витрине. Неужели резиновая? Девица неожиданно мигает. Живая! Рот открылся сам собой.

Тайные человечьи желания видны профессионалам на стадии созревания.

На моряка вылетели сразу две жрицы любви и, призывно курлыча, подхватили его под руки, увлекая в магазин. По дороге они что-то быстро ему объясняли и смеялись. Еще секунда, и моряк исчез бы в дверном проеме навсегда.

Ситуация нестандартная.

Еще более нестандартно заорал моряк, подхвачен-

ный уже не четырьмя, а двадцатью руками. И наши пришли на помощь. Вовремя, как всегда.

Офицер делает непрошибаемую физиономию. Теперь набрасываются на него: смех, крики, веселье. Девушки кричат: “Совет марина, ноу ман-и?”

Одна уже зацепилась лейтенанту за пуговицу и теперь, повернувшись к товаркам, что-то им объясняет тоном учительницы, тыкая пальчиком в различные части его тела.

Взрывы хохота и общее веселье. Наши смущены и отгорожены языковым барьером.

— Тардес, сеньора, тардес.

Здесь не надо долго говорить о дружбе между бразильскими и советскими народами.

— Тардес, сеньора.

Смех со всех сторон:

— О, тардес, тардес.

“Тардес” значит “вечером”.

Зонтик стоит двадцать крузейро. Всего лишь двадцать крузейро, сеньоры.

Старый жулик внимательно следит за покупателем. Если теперь не ткнуть, скривившись, сначала в зонтик, а потом в него и не сказать, лучше по-английски: “За эти деньги воткни его на могиле своей бабушки!” — зонтик будет стоять сорок крузейро. Так и есть, сорок. “О, вы ослышались, сеньоры, только сорок”. Сорок так сорок.

Визгливый крик будит лоботрясов, устроившихся в тени: старик, получив сорок крузейро, неожиданно повисает на зонтике, валится в пыль и бьет ногами.

Это не по-нашему.

Собирается толпа и, махая руками, бурно обсуждает происходящее. Украли зонтик, и вор, вот он, пойман.

Обладатель зонтика напрасно старается вырвать его у старика. Украли! Разорили! Зарезали!

— Да черт с ним, отдай, — решает наконец наш старший, — на, подавись!

Зонтик возвращается к старику, заработавшему таким образом сорок крузейро.

Для следующей группы зонтик стоит уже шестьдесят крузейро.

Шестьдесят.

Старик презрительно оттопыривает губу. Те, кто не умеет торговаться в этом мире и отстаивать свое, заслуживают только презрения.

И еще пинки.

Шестьдесят крузейро, сеньоры.

Через минуту старик, получив деньги, снова бежит, хватается за зонтик и валится в пыль.

Бездельники веселятся.

На углу стоит полисмен.

Он недвижим.

Он все видел, но он — власть, к нему еще не обратились.

Пробковый шлем, пистолет, несколько дубинок у пояса — вдруг одна сломается.

Он ждет.

Его должны позвать и объяснить ему ситуацию, и тогда он решит все по закону.

Его позвали.

Полисмен несет себя величественно.

Он подошел.

Спокойно, сеньоры, он все видел.

Лавочник кричит. Его ограбили. Зарезали. Убили.
Среди бела дня.

Полисмену нравится наша форма. Он бросает несколько фраз. Неторопливо, весомо.

Все смолкают. Полисмена здесь уважают. Он бьет прямо на улице. Сколько хочет, столько и бьет.

Зонтик нужно вернуть. Он так решил.

Лавочник машет руками. Ни за что! Где справедливость? Украли! Изнасиловали! Зарезали! Ни за что!

Полисмен достает дубинку. Наверное, любимую — ручка отполирована и блестит. Он говорить больше не будет. Он все сказал.

И тут случается то, что вырывает из толпы возглас: "Ооо!!!"

Старый мошенник, в завершение длинной фразы, плюет в лицо полисмену и бежит.

С полисмена мигом слетает все его величие, прихватив с собой двадцать столетий цивилизации: он опускается на четвереньки и визжит.

Бездельники бросаются в погоню за стариком.

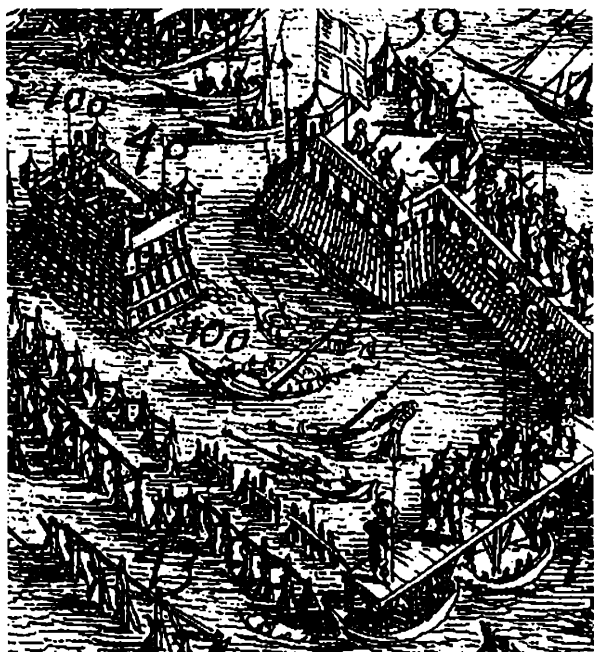
Полисмен поднимается и десять секунд остервенело топчет оставшиеся зонтики, потом он опрокидывает прилавок. Только после этого он бросается в погоню.

Гнаться уже не нужно: старику на углу подставили ножку, и теперь он лежит на мостовой, окруженный бездельниками, они с жаром обсуждают достоинства и недостатки предстоящей экзекуции.

Неторопливо подходит полисмен и садится на жертву; поерзав, он устраивается на ней поудобней.

Потом он раскладывает свои дубинки. Он будет бить, пока не устанет. Он посмотрел на дубинки и тихо засмеялся.

КАК ТАМ СТРАНА



*Русичи великая поля чрълеными
щиты прегородиша, ищучи себѣ чти...*

"Слово о пълку Игоревѣ"

ГДЕ Я ТОЛЬКО НЕ НОЧЕВАЛ

Я ночевал везде: на вокзалах, если до них добирался, на скамейках, в гостиницах и даже в общежитиях для строителей. Приходишь в общежитие для строителей, которое помещается где-то в стороне от большой дороги, — маленькое, покосившееся, одноэтажное, — и говоришь дежурной:

— Можно у вас переночевать?

А она смотрит на тебя, с головы до ног будто вываленного в снегу — такая на дворе непогода, и уже час ночи, куда же ты пойдешь в такой холод, не в подворотню же, и говорит:

— Два рубля.

И ты выкладываешь эти два рубля, а тебе дают простыни и наволочку и приводят в комнату, где уже лежат пять человек, и ты в потемках, стараясь не разрушить их храп, стелешь постель, а потом, стянув с себя шинель и всю одежду, влезает под одеяло — колючее, потому что простынь коротковата, и только закрыл глаза, как закружилась голова — это бывает, когда пешком идешь целый день, и немедленно ты чувствуешь, что падаешь куда-то глубоко-глубоко и лежишь, лежишь, и ничего не можешь поделать, потому что вроде связаны у тебя руки и ноги.

Ты падаешь так до самого утра.

Мне иногда кажется, что все это мне только когда-то приснилось...

МАЭСТРО

Я все время вижу себя под ореховым деревом.

Не знаю почему.

Странно как-то.

Смотрю в окно заиндевелое и вижу, что вокруг лето, зной, а я сижу под ореховым деревом, а вокруг разбросано много-много орехов, и я беру любой из них и так слегка только нажимаю, и в моих могучих, пахнущих отжатой сурепкой ладонях он трескается, а потом я его неторопливо выедаю, а мимо бежит-бежит тропинка — так бежит-бежит — и срывается вниз, и петляет по крутизне к морю.

Внизу ведь море. Ласковое. 35 градусов. Наверное, я в Греции.

— Пахомов!

Опять. Старпом. Прощай, Греция. Совершенно невозможно. У нас. Быть в Греции.

— Ты в море идешь?

Вот как. У нас теперь интересуются, иду ли я в море. И не просто интересуются, а суетятся, влажнея, торопятся узнать, хочу ли я в море. Не мешает ли мне чего. Хотеть. А раньше у нас был “священный долг” и я всем был должен. Я всегда был должен. Сколько себя помню — постоянно в долгах. С рождения. Только родился — сразу должен. А, кстати, может, я не хотел

рождаться. Мне было уютно, тепло, сыро, кормили, а потом, не спросясь, достали, и я всем стал должен. И дети мои будут должны. Я их буду учить, водить за ручку в театр и через проезжую часть, и какое-то время они не будут знать о своем долге, а потом исполнится им 18 лет, и о долге вспомнят. Мальчиков посадят вроде бы даже в застенки — это я про наши вооруженные силы, а от девочек будут с нетерпением ожидать замужества, чтобы они родили для застенка мальчиков.

— Пахомов, я с тобой разговариваю. Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Ну?

— Александр Евсеич, я вчера видел чудесный сон: у нас ракета после запуска из-под воды, как вы понимаете, не выдержала глумлений, развернулась и полетела на Москву. Там она взорвалась и через некоторое время на улицах Филадельфии продавали сувенирные осколки нашего Белого дома. И назывались они “русский Белый дом”.

— Ты заму эту историю расскажи.

— Не могу.

— Почему?

— После того как они предали свои идеалы и вышли из партии, я с ними не разговариваю. Пусть даже эти идеалы были ложными и противоречивыми. Все равно. Не люблю перебежчиков.

— Я тебя спрашиваю, ты в море идешь?

— Отвечаю: не иду.

— Почему?

— Мне за прошлый раз не заплатили. Вы мне обещали. Клятвенно. Что заплатят по приходу в базу. Ну и что? Обманули?

— Я деньгами не заведу.

— Если вы ими не заведуете, то присылайте ко мне того, кто заведует, и я с ним в один миг договорюсь. Я сговорчивый.

Вот как мы теперь разговариваем со старпомами и ходим в море из-под палки, конечно, но с помощью пряника.

Времена меняются.

В море теперь ходит сборная нашей базы, и чтоб ее набрать, старпом бродит по казарме и договаривается.

И пряник у нас один — деньги.

Пиастры на бочку, вашу кашу!

Принимаем и дублоны, и тугрики, франки, лиры, японские иены, грезы бородавочника, но больше всего любим доллары.

Очень любим.

Со слезами на бесстыжих глазах.

Я случайно видел одного чиновника, а у него в руках — доллары. Так вы знаете, плакал человек от счастья.

Я иногда думаю, может, хватит кривляться, объявим себя последним штатом Америки и заживем, и чиновничья у нас будет в два раза меньше, потому что зачем нужны свои, если есть чужие. А то неудобно как-то, в море ходим, а врагов нет.

И кормят говном. На первое капуста с водой, на второе капуста без воды, на третье — вода без капусты.

Нальют первое, а она там лежит на дне, красивая, как Офелия.

А деликатесы, как принято, заменяются по таблице замен: икра на балык, балык на селедку, селедка на сено, сено никто не ест, но его еще не подвезли.

Лейтенанты служить отказываются, старички ждут пенсию, как Пенелопа своего Одиссея, а таких, как я, пихают в море.

А я ведь специалист. Маэстро в своем деле. И в названном качестве нас на флотилии только два с половиной человека. Так что марку держим и в море ходим исключительно после предоплаты.

А по-другому пусть им зайцы служат.

А то повадились: приходят деньги на флотилию, и в первую очередь их получает штаб, затем тыл, а потом они дают на какой-нибудь экипаж все, что осталось, и все бегает, занимают там до следующего раза.

Я тоже какое-то время так жил, пока не понял наконец кое-что про свою незаменимость. Тут-то они и попались, влипли, пламенные испанские пидарасы.

Они влипли, а мы теперь при деньгах.

Правда, оплошности иногда случаются. Вот как в прошлый раз: мне пообещали, а я и уши распустил. Но это с нами теперь крайне редко происходит.

А не найдут никого — пускай флагман вместо меня сходит. Слегка проветрится. А то в штабе и в тылу теперь организовалась дивная жизнь. Сначала они продали все: разложили по кучкам медь, нержавейку, маломагнитную сталь, зип и загнали все это к Павкиной матери, а теперь они зарегистрировали на собственных жен продовольственные ларьки и на штабных машинах туда водку возят.

Чудная жизнь. В пять часов море на замок и мы в лавке. Как в Египте. Россия — страна фараонов.

Вот пускай фараоны и охраняют наше водное пространство.

А я без денег не могу

Устаю быстро и в Грецию хочу.

С удовольствием, кстати, поехал бы.

Поднимать греческий флот.

О КОЗЫРЬКЕ

Только не о козырьке от фуражки, о другом козырьке.

Видели, как дерьмо замерзает в унитазе?

Наверное, не видели?

Где ж вам видеть, если вы там никогда не были.

Это бывает на севере во время великих холодов.

Правда, оно замерзает не совсем в унитазе, оно замерзает на улице, в канализации, а в унитазе оно потом скапливается, и еще оно скапливается в ванне, особенно если квартира на первом этаже, а все остальные этажи срут по-прежнему, невзирая на то, что канализация замерзла, и ты бегаешь снизу-вверх и говоришь им: не срите, а они все равно срут, и в ванне у тебя пребывает.

От этого можно свихнуться.

Я имею в виду то обстоятельство, что можно свихнуться от собственного бессилия.

У нас старпом мчался как вихрь по всем этажам и стучал во все двери, которые либо не открывали, либо открывали и говорили, что мы, дескать, не срем, а сами срали самым наглым образом,

и старпом прибегал и смотрел в ванну, где копилось дерьмо,

и впоследствии, от расстройства, разумеется, он напился в усмерть и, что совсем уже непонятно, вывалился из окна на лестнице пятого этажа.

Но упал он не вниз головой, как водится,

а в полете, с каждым метром трезвея, сообразил — головой нельзя, спиной нельзя, ногами, животом тоже нельзя — поджал ножки и грянулся задницей о козырек над парадной, и сломал его совершенно.

Козырек просто вдребезги разлетелся.

И хорошо еще, что в нем было так мало цемента, просто совсем его не было,

может быть, там все клеилось и не цементом вовсе, а слюной мидий,

я не знаю, вполне возможно,

и еще хорошо, что в нем совершенно отсутствовала железная арматура, хотя она должна была там быть.

Старпом только смещение двух позвонков себе заработал, а все из-за того, что дерьмо замерзло в унитазах на первом этаже.

ПО ПОВОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО РАССКАЗА

Тут недавно мне начали говорить, что все это выдумка, что, мол, не мог старпом упасть на козырек.

А я им говорю: чистая правда. Мне самому когда рассказали, что старпом двести шестнадцатой упал на

козырек, я сразу же спросил: “Фуражки?” — оказалось, не фуражки.

И в “скорой помощи”, куда немедленно позвонили насчет того, что старпом упал на козырек, тоже спросили: “Фуражки?!” А им говорят: “Нет, не фуражки! Он упал на козырек!” — а они опять: “Фуражки!” — “Да нет же! Не фуражки! Он упал на козырек!!! — “Фуражки!!!!” — “Блядь! Да не фуражки же!!! Не фура-ж-ки!!!!” — и так пятнадцать раз подряд, потому что в те мгновения от волнения никто не мог сообразить, что бывает другой козырек.

Не от фуражки.

И насчет того, что тот козырек, который не от фуражки, был сделан без арматуры, тоже были всяческие недоверчивые выражения, мол, так уж точно не бывает, а я им напомнил, как в сто пятом доме забыли один лестничный пролет вовремя вставить и потом наружную стенку ломали, а у соседей на первом этаже общую трубу канализации со всего дома вывели посреди спальни.

Она у них выходила из потолка и уходила в пол рядом с подушкой.

Пришлось им выкрасить ее в белый цвет и черную крапушку, под березку.

Два года жили рядом с Ниагарским водопадом.

И еще относительно козырька, чтоб окончательно рассеять все сомнения: у Коти Лаптева, когда его назначили старшим над жилым домом в городке, в трех подъездах козырьки были, а в одном не было, и там все время в период дождей скапливалась вода, которая затем текла в подвал.

И Котьке командующий лично приказал восстановить над подъездом козырек, и когда Котька спросил его: “Из чего мне его сделать?” — командующий ему сказал: “Из собственных утренних испражнений”.

И тогда Котя совершенно опечалился, и, видя такое его плачевное состояние, один из матросиков, в прошлом неплохой штукатур, ему предложил: “Товариш лейтенант, да бросьте вы переживать. Вы мне найдите немного цемента и песка. Я из дранки сплету навес, привинчу его над подъездом, а потом оштукатурю. Ни одна собака не подкопается. Два года простоит, а потом это будут уже не ваши проблемы”.

Так и сделали, и простоял тот навес ровно два года.

Потом рухнул. От скопившегося снега. На комиссию из Москвы.

Кстати, и все прочие части предыдущего рассказика также подвергались различным сомнениям.

В одном только никто не сомневался — в том, что дерьмо замерзло в унитазе.

КАК ТАМ СТРАНА?

Невероятно!

Я вчера чуть не сошел с ума.

Две недели в море — всплытие-погружение, всплытие-погружение, не спали, не жрали, спешка, суета, режимы рваные и к тому же, понятное дело, мощнейшее информационное голодание, так что только вошел в квартиру в 7 утра, сразу же, в шинели, не раздеваясь, прошел к телевизору, чтоб узнать, как там страна.

Включил и чуть не сдох.

Там на экране мужик мордой тужится — ам-ам! — руками водит и не издает ни звука.

С экрана тишина.

И я сразу понял, что сошел с ума.

Вся страна не может ведь сойти с ума, значит, это я сошел с ума.

Выключил, подождал, опять включаю — опять мужик и опять тишина.

Я даже застонал, по-моему.

Точно.

Сошел.

Как же я детям-то своим все это объясню?

И тут на мое счастье на экране появляется дикторша и говорит, что завтра, в это же время, можно будет поставить перед экраном гораздо больше воды.

Оказывается, это выступает незнакомый мне молчаливый кудесник Чумак, и он заряжает воду космической праной для всей страны.

Вот я смеялся!

Вот я заливался малиновым колокольчиком, падал на диван, а потом с дивана, всхлипывал, причмокивал, чирикал воробьем.

Оказывается, я не сошел с ума.

После этого я немедленно уснул.

Прямо в шинели, на полу, совершенно счастливый.

КАЮТА

.....

— ... а потом ты ей вдул, да?

— Ну что за выражение, Саня, яростные английские маркитантки. “Вдул.” Я не вдул, я пальцами, пальцами открыл для себя нежнейшую область, в которой сейчас же обнаружил томительнейшую, стыдливейшую сырость, куда точнейшими ударами и направил своего Гаврюшу.

— А...

— Да, и никак иначе.

Мы с Саней Юркиным лежим в каюте. Он на верхней полке, я на нижней. Уже тридцатые сутки автономки, и я рассказываю ему о бабах.

— Она была тигрица. Клеопатра. Она меня царапала, кусала, сосала, лизала, как конфету. Она брала мое лицо и с силой водила им по груди, по груди, животу и ниже, заталкивала меня носом в пах, а потом возвращала меня наверх, хватала губами мои губы, а языком... что только она не делала своим языком... Она задышалась. Ее сердце птичкой колотилось в маленьком тельце, и я слышал этот ужасный, сумасшедший бой. Спутанные, мокрые копны мелких кудрей, влажные, скользкие груди, пахнущие свежим сеном, жаркое опустошенное лицо и скачка. Она скакала на мне, как ковбой. Ее зад поднимался вверх с судорогой, со страданием, она почти отрывалась от моих направляющих, вернее, от одного направляющего, и тут же с силой опускалась — трах! трах-тебедух!

— О-о...

— Она говорила: “Не заморить ли нам червячка?” И она замаривала его. Червячок просто валялся с ног,

падал без сил. Она его дергала, массировала, мяла, трепала. Дай ей волю, она б его оторвала. А потом она тащила меня в ванну, где опускалась на колени и вновь поедала его, и он, казалось бы, совершенно безжизненный, немедленно оживал, опоясанный жилами, в нем нарастало безжалостное давление, а она словно чувствовала это его состояние, и сейчас же в ней обнаруживалось сострадание, материнская нежность, участие. Она лишь слегка удерживала его, предлагая передохнуть, но как только он поддавался на эти ее уговоры и успокаивался, она вновь набрасывалась на него, и он, несчастный, бежал от нее, но все это ему только казалось, потому что этакое его бегство входило в ее планы и направлялось ею же...

— А-а...

— И он, понявший это слишком уж поздно, забился, сначала сильно, а потом все слабее и слабее, покоряясь неизбежному, и наконец грянули струи, и она вынула его и оросила свое лицо, и особенно глаза...

— А-а..

Тут я кончил.

Саня, по-моему, тоже.

ТЯЖКИЙ СЛУЧАЙ

У нас Севастьяныч спятил. Командир БЧ-5, капитан второго ранга Севастьянов. Полностью и окончательно. Рехнулся. За два дня до пенсии.

Сначала он полдня ходил по казарме, озаренный своим собственным светом, а потом вдруг сел и написал

письмо в исполком со своими предложениями относительно путей развития региона. Через два дня ему ответили (в полном соответствии с полученными анализами), и он нам всем это письмо зачитывал.

— Вот! — говорил он, и глаза его горели. — Я им написал, что в Малых Карелах среди музейных изб нужно открыть ресторан в русском стиле. Представляете себе, — он больно схватывал ближайших за плечо, — бревенчатая изба, за стеной неторопливо играет народная музыка, а в горнице накрыт стол с льняными скатертями. И за него садятся иностранцы, и под стопку водочки им подают щи и гречневую кашу с маслом, блины с икрой, расстегаи и сбитень, и все это в деревянных тарелках, и есть надо деревянными ложками. А потом те тарелки и те ложки (помытые, конечно) им заворачивают в качестве бесплатных сувениров.

Потрясающе! У него все было продумано. От архангелогородского хорового пения с притоптыванием до медведя на цепи и цыган.

Он подсчитал количество ложек и кормежек, помножил все это на деньги, и у него получилась астрономическая цифра, от которой, видимо, и произошло повреждение рассудка.

— Я им писал, — во взгляде его, по-моему, было что-то волчье, — я предложил им разводить пчел! На городских лужайках! А для голубей можно вообще выстроить специальные голубятни-ловушки.

А потом голубей, особенно их подросших птенцов, пойманных в этих ловушках, согласно теории, следовало варить до отвара, а потом тем отваром лечить малокровие.

А еще у него были предложения по разведению северных раков, форели, выдр и алтайских сурков, а также по выращиванию тополя, обвитого горохом, на корм скоту.

С ним нельзя было не согласиться. У него имелось множество всяческих цифр.

— Они мне ответили. (Пожар, а не человек, клянусь мамой, пожар.) Вот. Они пишут: “Дорогой наш человек! Товарищ!” или вот: “...мы воплотим все ваши идеи в самом ближайшем будущем. С приветом такой-то”. Почитайте.

Да.

По приказанию командира с ним какое-то время разговаривал зам, а потом еще долго-долго они вместе с доктором ходили по казарме под ручку.

СЫНОК

Известно, что настоящие поэты не пердят, а пускают ветры.

А в промежутках, когда они их не пускают, они делают что-нибудь для России.

Именно так.

Например, они детей своих рожают.

То есть я хотел сказать, что они, видимо, так или иначе участвуют в порочном зачатии собственного потомства, потому что в тех детях, которые у них потом получаются, есть что-то от тех ветров, которые они пускают, не будучи способными пердеть, как все нормальные люди.

Вот смотрю я на Сереженьку Калмановского, нашего начальника отдела строевого и кадров, сына настоящего поэта и на этом простом основании ни дня не прошедшего в море, вдали от родных берегов, и все-то мне, знаете ли, кажется, что передо мной не человек, а говно.

Они вместе с командиром недавно весь медный кабель продали на сторону, а также они продали все, что только смогли продать, а что не смогли — сдали в аренду, и эти их свойства, открывшиеся высокому собранию совсем недавно, что-то сделали с нашим сынком Сережей — он совершенно оскотинился и посчитал, что он все теперь может.

К примеру, он может устроить пьяный дебош и побить кого-нибудь из сослуживцев по лицу, и побитое лицо сослуживца, зная о комичных обстоятельствах, связывающих теперь этого мерзавца с командиром, никуда не пойдет жаловаться, утрется и проглотит.

Но побитое лицо все-таки настроячило рапорт и отдало его по команде, и все ждали, что же будет, но оказалось, прав был Сереженька — ничего ему не было, а лицо, покрасневшее сперва от побоев, а затем от обид и унижений, покидая кабинет начальства, даже сказать-то толком ничего не смогло, только заикалось с горловыми перехватами, и я бы эту историю несомненно позабыл, не повернись оно так, что теперь вот Сереженька, в качестве проверяющего, пытается мне доказать, что я недостаточно тщательно несу службу дежурного по части.

Я, видите ли, не так представился по телефону, точнее, я совсем по нему не представился и, что самое

ужасное, не узнав Сережин голос, чуть ли не послал его 57 раз на хер и заставил самого его представиться, и так напомнить о себе, а потом не испугался за содеянное, не извинился и тем самым вынудил его прискакать ко мне с проверкой правильности несения дежурно-вахтенной службы.

Эх!

Драгоценные мои читатели!

Когда я вижу перед собой сынка, охамевшего от безнаказанности, я ведь могу озвереть.

А тем более что я при оружии и рядом со мной свидетелей нет. Мы с Сережей один на один.

— Слушай, ты, — говорю я ему, приближаясь, — любитель меди, мы тут одни в дежурной рубке, и сейчас у нас с тобой будет дуэль. Знаешь детскую считалочку: “На золотом крыльце сидели, через три пизды глядели...”? Так вот сейчас и посчитаемся. И кто из нас двоих выиграет, того я и застрелю в пах.

Ну как, согласен, поэтический ребенок?

И достаю парабеллум.

И вы знаете, потек наш Сережа.

Потек.

С папиными запахами.

Мне даже по морде его бить расхотелось.

Так только, ткнул пару раз.

После чего меня немедленно сняли с вахты.

А потом и в запас уволили.

Бы-а-ля.

СКОТОВОЗЫ

Ну, вы уже, знаете, наверное, что до службы мы добирались на скотовозах, на этих больших машинах, крытых брезентом, с надписью “люди”.

Как-то офицеры расхрабрились настолько, что на очередном опросе жалоб и заявлений посетовали на то положение, по которому им до службы приходится идти пешком восемнадцать километров, и все тогда испугались, как бы офицеры не застрелили кого-нибудь в рот, потому что если офицер начал жаловаться на смотрах, это означает, что он доведен до отчаянья и обязательно, заступив в патруль, застрелит кого-нибудь в рот, поэтому начальство рассудило, что легче пойти у офицеров на поводу и дать им эти скотовозы.

И дали.

Ровно в 7 утра они подъезжали к Дофу, а там их уже поджидала толпа, которая начинала бежать навстречу этим замечательным машинам задолго до того, как они разворачивались и останавливались.

Первый добежавший бросался на высокий борт, пытаясь забросить в него сначала одну ногу, а потом рывком и все тело, но тут его настигали сзади, и на него наваливалась разгоряченная толпа.

Она ударяла его в спину, отчего ноги у бедняги скользили по льду и въезжали под машину, а руками он все еще судорожно цеплялся за борт, но потом и они исчезали, покрываемые телами в черных шинелях.

Слабосильный отпуская руки и пропадал под машиной, а могучий вдруг вырастал из-под тел, подбросив кого-нибудь головой, и все сейчас же заполняли кузов, а

потом машина, как следует тряхнув на ухабине, набирала скорость и все успокаивались, затихали от усталости, цепенели в расслаблении лицами, на которых таяли сказочные снежинки Снежной Королевы, и машина тонула в пурге, о которой теперь напоминали только бешеные вихри, врывающиеся под брезент и справа, и слева, и сзади, конечно.

А потом вдруг в недрах машины кто-то совершенно пьяненький внезапно решал, что он едет не в ту базу, и, вполголоса матерясь — от... еж... твою мать... — он начинал пробираться к выходу, шагая по ногам и полам шинелей, и все оживали, кричали ему в спину: “Эй... блядь... куда прешь...” — а он, отругиваясь, высоко поднимая колени, добирался до борта и, поворотившись в глубь машины, говорил напоследок: “Сами вы... бляди...” — а потом шагал на полном ходу через борт.

Ругань мгновенно обрывалась, и все только вскрикивали: “Ах!” — а затем все стихали, потому что человек явно убился, бросались посмотреть, как там, и сквозь снегопад сначала ничего невозможно было разглядеть, а потом среди пурги на дороге внезапно вырастали длинные ноги, разведенные в разные стороны, потому что полы шинели опадали, как лепестки у цветка, обнажая их, потому что он как шагнул за борт, так сразу и ушел с головой в сугроб и застрял там вертикально.

А потом ноги шевелились, выдыхалось: “Жив, сука!” — и сейчас же все успокаивались, забывая обо всем совершенно, и даже успевали подремать чуть ли не до самого КПП.

КОГДА ПРИХОДЯТ ВЕЛИКАНЫ

Мне всегда хотелось вам рассказать о том, как россомаха идет по следу. Как она идет по твоему следу, а ты — один, зимой, пешком, по заснеженной дороге, и впереди, на сколько хватает глаз, ни деревца, ни человека, а сзади она — останавливается, принохливается и догоняет тебя неуклюжими прыжками; или рассказать о том, как мы в пургу, ночью, по штормовому предупреждению бежали на лодку, а ветер выл, как тысяча бездомных собак, и приходилось пригибаться к земле, потому что отбрасывало, тащило назад, а в лицо бросало твердую, как алмаз, ледовую крошку; а бежать надо быстро, отворачивая от ветра лицо не только потому, что крошка секла его в кровь, но и потому, что ветер не давал вдохнуть, раздира л губы, набивался в рот, а ноги скользили, и приходилось грудью ложиться на ветер, а он сначала упорствует, а потом вдруг поддается, и не удержаться, и падаешь, а потом встаешь и снова вперед.

Добежал — света нет: где-то оборвало провода, только лодка освещена маленьким огоньком, а верхний вахтенный давно превратился в сугроб, а рядом с ним елозит трап, с которого сорвало парусину, и лодка гуляет — отходит от пирса на ослабевших швартовых и снова надвигается на него.

Это вахта их ослабила, иначе швартовые натянулись бы, как жилы, а потом, лопнув с хлопком, хлестанули бы все, что попало, и все, что попало, разлетелось бы вдребезги.

Но ты уже на трапе, и ты становишься на четвереньки, потому что иначе никак, а где-то там, под трапом,

далеко или близко — неизвестно — тянется к тебе черная вода. Между лодкой и пирсом она поднимается и опускается, словно дышит, как человек, пробежавший километровку, а с другой стороны, там, где бьется ветер, выбрасываются вверх длинные лохмотья волн, они встают и оседают, а упав, лупят по борту, как хорошие бичи, а ты стараешься угадать, чтоб не попасть под удар, чтоб юркнуть, как мышь, в люк, торопясь, скользя, обдираясь о мокрые ступени и поручни, упасть вниз, туда, где свет хоть какой-то, где тишина и тепло, и вломиться на свой пост, и спросить там своих: “Все на месте?” — услышать, что все, а потом свалиться в кресло, накрыться ватником, попросить чаю и, пока его готовят, почувствовать вдруг, как кто-то неведомый тебе неторопливо разводит в мисочке мед с водой и невесомой кисточкой касается твоих век, и они сейчас же тяжелеют, и верхние устремляются к нижним, словно только в этом движении и заключается их основное назначение, а во рту язык уже сделался ненужным, чужим, а спина, плечи, колени, локти уже нашли какие-то выступы в кресле и сразу же к ним прилипли — не в силах сдвинуться с места, хотя ты обещаешь себе пошевелиться сейчас, прямо сейчас, и окружающий мир вдруг наполнится великанами, которые подойдут и встанут у изголовья.

ВЕНЯ

У Вени Тараскина всегда прекрасное расположение духа. Всегда детская улыбка на круглом лице и все такое. А если и случается ему пукнуть в присутствии пре-

красных дам, то Веня всякий раз извиняется и, подумав, говорит: “И великие тоже пердели.”

И я его понимаю.

И я его приветствую.

И я люблю его, наконец, за жизнелюбие, за улыбку и нестигаемость.

А тут вдруг на днях вижу его хмурым и неприветливым. Я ему: “Веня!” — А он только рукой махнул. Потом выясняется: вызывают его вчера в финчасть, и там начфин, эта сволочь наша голубоглазая, ему и предлагает: ты, мол, не получал свои пайковые целый год и, может, вообще их никогда не получишь. А давай сделаем так: отдаешь мне десять процентов, и я тебе их хоть завтра выдаю.

— А я так растерялся, Саня, представляешь, что и сказать-то толком ничего не смог. Промямлил что-то — мя-мя-мя — а потом говорю, спасибо, значит, не надо мне таких пайковых. А вышел от него, и как меня понесло: да чтоб тебе кошку в жопу сунули пьяные цыгане, да чтоб тебя в тисках зажали и специальная собака тебе яйца откусила, да чтоб тебя оттрахала стая пигмеев, да чтоб...

— Веня, — говорю ему, — брось. Эта блядина все равно помрет как скотина и перед смертью, силясь что-то сказать своим близким, поднатужится, поднатужится, так как смерть — это ведь тяжелая, изнурительная работа, не всем по плечу, и, кроме того, нужно же успеть сказать окружающим нечто важное — но кроме тех пайковых он так ничего и не вспомнит. Потому что нечего вспоминать. Потому что жизнь у него — полное говно. И скажет он тогда своим родственникам какую-

нибудь ерунду. Например: живите долго. Брось, Веня. Плевать. Все равно ведь бесславно сдохнет.

И смотрю, от этих слов, особенно после того, как я сказал, что начфин сдохнет бесславно, Веня даже лицом посветлел и задышал с облегчением.

— Действительно, — говорит, — чего это я, Саня?

И улыбнулся той своей улыбкой, которую я так люблю.

НА БРЕТЕЛЬКАХ

... вредно к бабам ходить в том смысле, что они навредить могут: то вещи выкинут в форточку, то на ключ запрут. Вот Юрка Морозов, конь педальный, наш лейтенант-гидроакустик, пошел, конечно же, к бабе, но был он в то время уже с сильно поврежденным здоровьем, то есть пьян был, язва-холера, и на этом простом основании не смог помочь девушке на гормональном уровне и заснул там самым пошлым макарон.

А она, вне всякого сомнения, абсолютная блядь корабельная, в отместку отрезала ему брюки по самое колено, и утром он вынужден был их одеть, но, поскольку после колена они у него уже заканчивались, то пришлось ему их спустить вниз на помочах до ботинок, то бишь на таких веревочных подтяжках, которые он тут же и сделал из бумажного шпагата, потому что только он и был под рукой.

Сверху ведь шинель надевается, а она от земли на тридцать сантиметров, так что в принципе можно было только эти тридцать сантиметров брюк и иметь для прикрытия, а у него их даже больше оставалось, и все бы ничего, если бы не мотня, которая при хождении по

дорогам не давала раздвигать ноги и тем самым создавала ряд дополнительных существенных помех.

Ему бы разрезать мотню, но тут он, видимо, не сообразил, потому как занят был своим положением в пространстве и во времени. Так что приходилось идти мелкими приставными шагами, будто тебе яйца дробью отстрелили, потому что боялся он, как бы вся эта его тряхомудь совершенно не развалилась.

И вот утро, все в строю, чинно-благородно, подъем флага, “На флаг и гюйс!..” — словом, все в атмосфере, как и положено, томно, и тут все замечают, как со стороны поселка лейтенант движется к строю такими медленными элегантными прыжками. Перемещается, значит, как идола острова Пасхи.

— Морозов! — говорит ему старпом. — Ты чего?

А он только молча распахнул шинель, а там обнаружили брючки-карлики на бретельках и над ними трусы.

Тут-то все и полегли.

Наиподлейшим образом.

НА ХАМСКОЕ ПОЛЕ

Утром мы стояли вперемежку с работягами в очереди на автобус.

Ехать должны были на Хамское поле.

Там завод по ремонту подводных лодок, и мы на нем ремонтируемся.

С утра все хмурые, но торжественные.

И вот только автобус подползает к той самой яме у остановки, где мы все и находимся,

как тут же, не весть откуда, появляются два алкоголика, которые пытаются влезть без очереди,

и их, конечно же, теплое адамово яблоко Семенова-Тяньшанского, молча хватают за пятый позвонок

и из рук в руки передают в тот самый конец, где они и должны находиться.

Но пока их туда доставляли, они успели поссориться между собой и подраться.

Все уже влезли, а у них все еще идет потасовка.

И вот один изловчился, отпихнул другого и попер в двери,

а второй, после толчка в поисках равновесия, взмахнул руками и ухватил влезającego за длинный разматавшийся шарф

и дернул.

И выдернул его как раз в тот момент, когда двери автобуса закрылись.

И тому зажало голову.

Он от натуги краснеет, но сказать ничего не может.

А тот, что остался, вдруг так обрадовался, просто от счастья смехом зашелся, совершенно протрезвел, подскочил мелким бесом, подпрыгнул и влил ему звонкую пощечину.

А автобус в это время медленно, как черепаха после кладки детей на Каймановых островах, выбирается из ямы.

И тот, уже бегом, все еще догоняет автобус, смеясь, подпрыгивает и бьет по лицу,

на что застрявший только морщится и багровеет, а тот все догоняет, смеется, подскакивает и бьет, бьет, бьет.

А бедняга только морщится и старается увернуться
от удара, а куда там увернешься,
и этот все бежит, бежит...

И тут застрявший неожиданно плюнул, и этот плевок
настиг нападающего в полете,

в самой верхней мертвой точке,

и там было столько слюны — просто во всю рожу, и
она была такой клейкости, такой вязкости, что нападавший
запутался в ней, как тля в сиропе, и тщетно
пытался снять ее с лица.

Он снимал ее, как паутину, на бегу,

а она ни в какую не снималась,

и он все еще по инерции, все еще на бегу, все еще
пытался освободиться и споткнулся,

и ухнул в случившуюся по дороге огромнейшую лужу,
и скрылся в ней совершенно, оставив на поверхности
только ботинки

и кусок ноги.

Он остался лежать, а мы поехали на Хамское поле.

С УТРА

С утра у старпома всегда был остановившийся взгляд
и говорил он всегда только: “Ну да-а...” Оживлялся он
лишь в столовой, где на завтрак давали: яйцо (или
омлет из яичного порошка), сгущенку — одна чайная
ложка на человека, мед — 5 грамм, сыр плавленый —
30 грамм, масло — 10 грамм, паштет — 30 грамм, сок
березовый — 75 грамм, чай или кофе — один стакан,
хлеб — бери сколько хочешь, и кружок колбасы твер-

дого копчения — 15 грамм (по сорок палок в бочке, пересыпанных опилками).

Съев все это в одно мгновение, он еще какое-то время смотрел на кружок колбасы твердого копчения, которым всегда завершалась трапеза, а потом медленно и торжественно отправлял его в рот и замирал. Видимо, колбаса во рту тут же начинала растворяться, потому что глаза у старпома по-хорошему влажнели, и все его лицо обретало благостное, светлое выражение, и это был тот самый необыкновенный внутренний свет, которым время от времени озаряются все творческие люди. Но вот растворение, видимо, заканчивалось, и колбаса, окончательно истлев, исчезала в глубинах старпомова организма, и лицо его темнело, он произносил: “Ну что, на сегодня все хорошее уже было”, — после чего он шел на корабль нас сносить.

НЕИНТЕРЕСНО КАК-ТО

Неинтересно как-то теперь.

То ли дело раньше.

Всегда настороже.

Постоянно начеку.

Вглядываешься в окружающее.

Впериваешь свой взор во тьму.

Ждешь: может прилетит что-нибудь поверх голов.

И всегда готов — к посрамлению, к поражению, и расположен к принятию: либо превратностей судьбы, либо подлостей собственного начальства, которое к тому же еще все время приходилось задабривать, участливо

лизать, прихотливо прогибаться, искренне интересуясь: “Как там ваше натуральное самочувствие?” — а он, сука, — и снаружи тупой, и внутри тупой, и все у него хорошо с самочувствием, потому что не может быть плохо, потому что те, кому с самого начала плохо, до начальства не доживают.

Хочет ему стать плохо, но не получается. Настолько он незатейлив. И на твое подобострастное: “Как ваше...” — следует милостивый кивок — прогиб засчитан.

Или тебя ловят по дороге:

— Что у вас в кармане?

Выворачиваешь, а там — блокнот.

— Пронумерован?

Да.

— Прошнурован?

Конечно.

— А у помощника учтен?

А как же.

— А ну проверим вас на ведение неучтенных всяких там записей.

Проверяй, горемыка, проверяй. Записи-то мы делаем не здесь. Это у нас смотровой блокнот, и все вы — мое начальство — с потрясающей периодичностью его проверяете. Только некоторым достаточно одного раза, для периодичности, а кому-то — и двух мало.

Или болтовня. У нас же раньше как было? Все болтали, но чуть только скользкий разговор — а у нас это чаще, чем в других родах войск, потому что мозгов побольше и вообще, — так немедленно замолкают, или смотрят в сторону, или глаза себе веселые делают.

Поэтому на флотских остальные всегда обижались, сетовали, бывало: мол, вас, водоплавающих, юфит вашу мать, совершенно не поймешь, когда вы нам уши кинноварью красите, а когда всерьез.

Потом Фома придумал отговорку: “Скажите тем, кто вас послал, что капитан второго ранга Фоминцев этот разговор не поддержал”. И все. И мы ею пользовались при любых обстоятельствах.

И все всегда в тонусе были, потому что опасно было не только в море ходить на гнилом железе, но и вообще опасно было — говорить, дышать, жить.

А теперь только в море ходить опасно.

А поэтому неинтересно как-то.

ШУТКИ БОГОВ

— Надоел мне министр обороны, — процедил сквозь зубы Серега, оторвав от цыпленка изрядный кусок.

Дело в том, что мы с Серегой на юге, под тентом, в непосредственной близости к полуденному морю. Слезы наворачиваются на глаза, как вспомню, сколько в этом году нам с ним пришлось пережить, плавая над бездной, не говоря уже о том, что все это на хер никому не надо.

Двести восемьдесят суток ходовых в году — это ж сдохнуть можно, господа хорошие. Поэтому мы только что проглотили пинту холодного чешского пива, и оно заполнило нам желудок с жадностью, достойной заборточной воды, ворвавшейся через пробойну. Оно просто рухнуло внутрь и омыло там каждый волосок. Благородная

жидкость. Правда, Серега мне тут же заявил, что волосатые желудки бывают только у коров, на что я заметил, что и хрен с ним. Все равно хорошо. А потом мы это дело закусали шашлычком и теперь развлекаемся цыпленком табака — этой курицей, на ходу прихлопнутой лопатой, которая, впрочем, своими размерами скорее напоминает половинку новорожденного мустанга.

Господи, как хорошо!

— Точно такое серапе я видел на Моррисе Джеральде, — произносит Серега, провожая пристальным взглядом двух местных дам в немыслимых по красоте пестрых нарядах, устроившихся неподалеку, после этого он икает и возвращается к затронутой теме.

— Благочестивый Ксаверий! — обращается он ко мне с бокалом холодного пива в руке. Серега считает, что если уж мы с ним лежим на полатях под навесом, бережно обернутые в огромные белые одеяла, то вполне можем сойти за римлян на пиру. — Искуснейший! Не кажется ли тебе, что наш министр обороны, вкупе с иными печальниками, не слишком уж сильно печалится о нуждах родного отечества? Я в недоумении, сменившемся недавно огорчением, а затем и смятением. На границах неспокойно. Активизировались дикие даки. Они уже построили бани и научились метать копья в цель. Клянусь Геркулесом, дорого бы это им стоило, не будь наш бедолага самой последней шляпой в целом ряду различнейших шляп. Не уверен, что он читал хоть когда-либо Вергилия или Плиния-младшего. Думаю, ему также неизвестно творение великого Лукреция “О природе вещей”. Да и умеет ли он читать? Пора снимать дурака.

— Как же тебе все это видится, благородный Версавий? — спрашиваю я у Сереги. — Яд, подлог, подметные письма в сенат?

— К чему все это, благоразумнейший! Люди смешны, неумны, их помыслы неопрытны, ничтожны, их усилия корыстны, а потути — жалки. Несчастные! Они обращаются со своей жизнью с завидным расточительством, точно им даровано бессмертие. Тем самым они замахиваются на самую идею бессмертия и возбуждают к себе ненависть богов. Их мысли прозрачны, потешны. Они и не подозревают о существовании критической массы. Они быстренько набирают ее, и — ах! — с ними происходят разные разности. К примеру, несчастья. Он, наш бедняга, уже набрал свою критическую массу. Частицы испытали соударение, жернова пришли в движение, и в нашей же власти, как ты понимаешь, только лишь выбор сюжета. Я думаю, что это должно быть что-то связанное с утратой не совести и памяти, но чести. Ведь бесчестие — это яма для трех поколений. Как ты полагаешь?

— Казнокрадство?

— Оставь, великодушный, оставь все эти детали для нищих духом. Если ты не против, мы выбираем бесчестие. Он умрет от бесчестия. Решено. А как все это произойдет? Не все ли равно, как. “Фортуна нон пенис, ин манис нон реципа!”

— Впрочем, — Серега покосился на соседних дам, — мне более всего нравится идея с прелюбодеянием. И побольше навоза. Ему в нем тепло.

— Как ты велик, мудрейший, — воскликнул я в полном восторге.

— Я знаю, — махнул он устало в ответ.
А вечером мы узнали, что нашего министра сняли.
За прелюбодеяние.

«ДВА ЩЕ»

Это мое прозвище.

Сокращенное от генище-талантище.

Я сам его придумал, потому что все равно какое-нибудь дадут, и может быть, даже дадут такое, что не обрадуешься.

Так что о своем втором имени лучше позаботиться заранее.

Чтоб не выглядеть потом полным идиотом.

Я как только попал в часть, так сразу и сказал: «Зовите меня “два ще” — сокращенное от генище-талантище».

Они даже рот открыть не успели.

До того их обезоружила моя наглость.

Уставились не мигая, маленькие голландцы.

И только через какое-то время кто-то подал голос: «Еще один Архимед», — имея в виду то положение, что до меня у них был лейтенант, который задумал бежать отсюда на самодельной подводной лодке.

Лейтенантом я начинал с Русского острова.

Понимаете, есть такой остров в нашей галактике, с которого принято начинать.

Это потом уже я стал уважаемым человеком, автором множества электромеханических чудес, с помощью которых уничтожалось местное начальство, а сначала мы

там любое дерьмо, падающее сверху, незащищенными руками подбирали, в сторону относили, горкой складывали и полгода мхом обкладывали помещение от подножья до вершины, потому что, видите ли, почему-то считалось, что человек на этом острове будет жить только летом, а зимой не будет, и поэтому, спирохеты печальные, трубы центрального отопления, строго говоря, проводить совершенно не обязательно.

Эх-ма! Чучело эвенковеда!

И почему нельзя объявить себя страной, отдельным государством, заявить о немедленном своем отсоединении от горячо любимой родины, а потом обнести себя забором, вырыть ров и принять внутри себя законы и правила, то есть объявить о ненападении, и главное, о любви к своим подданным — в данном случае к самому себе.

У меня все было бы по справедливости.

И человека я бы тоже объявил самой большой ценностью, но на этом основании я не охотился бы за ним и днем и ночью, за всяким за каждым, потому что нельзя.

Это потом уже, когда я вырвался с этого острова на Чукотку, я готов был целовать в шею отдыхающих тюленей и пользоваться в жопу проплывающих моржей.

И вскинешь, бывало, голову к лазурным-лазурным небесам, а там летят и летят красные-синие-желтые воздушные шары с дебиловатыми сынами Америки в корзинах, потому что вот же она, Америка, гаучо гамоны, рядом же, через пролив. И думаешь, бывало: снять бы тебя, мерзавца, одним выстрелом из винта, потому что ничего-то ты в этой жизни не понимаешь, и на этом простом основании можно шлепнуть тебя, горемычного, ни одна же зараза не справится, куда это ты запро-

пастился, а потом вдруг такая любовь ко всему сущему на тебя нахлынет — и сосет и сосет, просто беда — и в горле захрипит, зайдет, займется пузырьками, и думаешь тогда, со вздохом глядя на проплывающий шарик: “Живи, дурашка!”

Или можно восхищаться строением человеческой плоти, кисти там или лодыжки: сколько в ней всяческих косточек, чухонский балалай, и как здорово все работает.

Я всегда ими восхищаюсь, когда выдается свободная минутка.

Достаю и с удовольствием оглядываю.

Однажды даже захотел привлечь к этому восхищению нашего помощника.

— Смотри, — говорю ему, — как здорово устроена человеческая кисть или же лодыжка!

А он на меня посмотрел как на ненормального.

Не внял.

Может быть, потому, что на камбузе как раз в это время вскипали крабовые ноги и все его мысли были в котле?

Очень может быть.

Степень свежести краба!

Это когда он лежит на столе и наблюдает за тем, как в котле варятся его ноги.

А потом тело того краба-наблюдателя, отмороженные акантоцефалы, только что вместе с нашим помощником внимательно следившего за процессом варения, полетело за борт, надетое на крючок, и там на него кинулась такая рыбища — мамон да мадина! — описания которой не было ни в одном учебнике.

Ее вскрывал наш корабельный врач.

Если вам потребуется когда-нибудь кого-нибудь вскрыть по диагонали, смело обращайтесь к нашему доктору, новозеландские тараканы.

Это вдохновенный специалист.

Он по трепухе определит ваш возраст и половые пристрастия.

Он располосует любую тварь и по внутренностям установит ее наименование и немедленно скажет, можно ее есть или нельзя.

Но ту он резал-резал, но так ничего и не установил, потому что устал.

Махнул только рукой: "Варите!" — и мы ее, неопознанную, немедленно сварили и съели вместе со всеми потрохами, потому что усиленно есть хотели, потому что были голодны.

Нам перед самым отходом загрузили одно только просо червивое, остальное, говорят, в море достанете.

Так что достали и съели в один общий вздох.

Ну хоть бы один, скотина, обмишурился, отравился или же занемог.

А док, натренировавшись таким образом, затем матросиков резал так же легко и беззаботно.

Разваливал в собственное врачебное удовольствие.

Избавлял от аппендицитов и прочих зараз.

Пустяковый прыщик приводил к незамедлительной ампутации.

— Пойдем вниз, потом вправо, остановимся у печени.

— Доктор, а я буду жить?

— Па-че-му пациент до сих пор в сознании?!

А в Индийском океане у нас произошел совершенно нетипичный случай прободной желудочной язвы.

Нам даже пытались помочь. Мария Магдалина! Нам пытались сгрузить на палубу индийского врача, кишки островитянина!

Настоящего гуру.

А на море качка, рачьи перепонки.

И как нам сблизиться — неизвестно.

Корабли сошлись, насколько это возможно, и пляшут вверх-вниз!

А абордажных крючьев нет, чтоб друг к другу приклеиться, поэтому посадили индийского гуру на доску и начали медленно, член етишкин, и аккуратно выдвигать его за борт, и чем дальше доска выдвигается, тем, естественно, гибче она становится и тем шире у индийца открываются глаза, и без того огромные, красивейшей формы.

Наконец он не выдержал да как заорет: “Хенахуру-хо!” — и вполз по доске задницей незамедлительно вверх.

После этого меня назначили на корабль-матку.

Но сначала я, конечно, напустил командиру в каюту сточную вонючую воду по самое колено, а потом вместе горячей воды у него из крана в умывальнике пошло дизельное топливо.

Мама моя бразильская!

Только он замыслил личность помыть, неожиданный наш, и ладошки бесполезные свои пристроил, как ему тут же безоговорочно в них и насали с пенкой.

А все потому, что он меня на берег не спускал совершенно, фалопения в бородавках, и всякий раз “БЧ-5 последнее место...”, тили-тили и прочее дерьмо.

Вот и покушали маринованные ушки от федоткиной зверушки.

Для заполнения стоками пришлось слив из буфетной перекрыть, а затем передавить настоявшееся сусло из пожарного брандспойта.

Словом, ничего особенного.

А вот с дизельным топливом, ляпа дель соль, пришлось повозиться: не хотело оно в каюту лезть, и все тут.

Пришлось через систему охлаждения дизелей: здесь, здесь и здесь перекрыть, кое-что пережать и по команде: “Подана вода на расход!” — умыть командира соляркой.

Ох и рожа у него была!

Ох и визг!

Вкуснотища!

И потом меня сразу же отмандаринили на корабль. Матку.

Там я выучил финский язык, потому что эту матку строили в Финляндии и вся документация была на этом прогрессивном языке, и я ту документацию читал-читал — чуть умом не чокнулся и костеязычием не заболел, а потом вдруг с какого-то листа, кошачьи молочные железы, почувствовал, что понимаю финский язык, хотя у меня кроме путеводителя по стране Суоми ничего под руками не наблюдалось.

Родина моя великая!

Обращаюсь непосредственно к тебе, потому что больше обратиться не к кому. Когда в следующий раз ты захочешь создать что-нибудь выдающееся, влагалище узорчатое, ты лучше сразу назначь на это дело человека, любящего финскую литературу и речитативом читающего себе на ночь Калевалу, а от всех этих плоскогубых

идиотов, сука афинская, которых ты почему-то находишь в последний момент на приемку корабля, избавься заранее, отправь их, к примеру, своевременно навоз что ли птичий голыми руками разгребать.

Больше об этом говорить не хочется, папильоте де пенис!

Рыгать тянет.

Лучше говорить о том чудесном корабле.

О матке.

Вы, наверное, знаете, что такое матка?

Не знаете?

Сейчас объясню.

Это такой корабль, на который черти что наворочено: на нем сверху-сбоку-снизу-сверху и внутри налипли танки, самолеты, пушки, пулеметы, ракеты-гарпуны, торпеды, бомбы и подводные лодки.

Представляете, подплывает под нее подводная лодка, и матка на нее сверху садится, как морская звезда на гребешок, а потом осушается в этой матке некоторый внутренний док, пузырь Соломона, она над водой поднимается, скарабея инфузория, и лодочка у нее оказывается внутри, и можно дальше путешествовать.

Но все это только теория, тетины пролежни, а в жизни финнам ничего не объяснили: мол, знаете что, вот этот чудесный внутренний объем мы будем не белибердой всяческой заполнять в крошечной темноте самосознания, а современными подводными лодками, етит твою мать, и финны сделали, конечно, такой объем — пожали плечами, чего не сделать — и замандорили, но нижнюю палубу на вес подводной лодки при осушении внутреннего дока не рассчитали.

В общем, чано лучано, как объясните там, на Западе, так вам и сделают.

И корабль получился замечательный, но с абсолютно бесполезным объемом внутри, который теперь только и можно было заполнять всякой нетяжелой ерундой.

Матку сваривали огромными кусками, и в этих чудесных кусках уже заранее были просверлены все отверстия, которые при сложении куска с куском, как это ни парадоксально, совпадали.

Если б ее делали у нас, мама наша Чита, то, уверяю вас, ничего бы не совпало.

Все бы дырки сверлили заново.

А тут, брюхатые экзистенциалисты, как приклеились — и уже кабели протянули там, где они и должны были быть, и электроники, электроники, электроники — компьютеры, видеокамеры, телевизоры, магнитофоны, ежедневная потребность в пресной воде при полной загрузке 1600 тонн и на каждого матроса по отдельной каюте с душем, горячей водой и видеомагнитофоном.

Охренеть можно!

А приемная комиссия собирала грибы.

Ее набрали от последнего матроса до командира — не могу, повторюсь, иначе снова рыгать начну — в соседней выгребной яме и послали в Финляндию на четыре месяца на приемку корабля, а они там в обед собирали грибы и жарили их на вертеле, потому что хотели сэкономить суточные и привезти домой доллары.

И как они потом дошли до родных берегов, не ведая даже, где у них котлы стоят, — загадка мироздания.

Пришли, пришвартовались, и начался грабеж: ведь в каждой каюте был пылесос “Филипс” и чайник “Филипс”.

Пылесос в ведомости значился как “пылесборное устройство”, а чайник — как “стакан для кипячения воды”.

— Пылесборное устройство? Да это же веник с совком! Стакан для кипячения воды вам нужен? Дайте им стакан.

Ой, блядь!

Соблазненная Вирсавия!

Печальный Урия!

Не могу не материться.

Я так считаю, что младший командный состав в адрес старшего имеет на это неотъемлемое право.

В предыдущей фразе я, может, стилистически что-то напутал, но против сути не погрешил.

Только старпом отправил домой два полных контейнера.

Остальные, спотыкаясь от возбуждения, утащили в руках то, что смогли, и когда все свистнули, начальство стало мыться.

Я не знаю, сколько раз в день может мыться наше начальство.

Сколько оно может сидеть в сауне, промежность конская, завернутое в простынь.

Я, конечно, понимаю, что у них вместо рожки давно налицо только жопа порсячья, но даже она, как мне кажется, после пятнадцатого раза должна вялыми лохмотьями совершенно отпадать и на полу уже рулонами сворачиваться.

— Включить сауну! Выключить сауну! Включить... Выключить...

Через месяц полетели все нагревательные элементы и все котлы встали раком, потому что не выдержали издевательства.

Дорогие начальники! Все, что сейчас скажу, предназначено только для вас, потому что все остальные все это и так знают.

Котлы. Могут. Работать. Только. Тогда. Когда. Через них. Проходит. Расчетное. Количество. Воды.

А при меньшем количестве воды они выходят из строя, беременные бармаlei!

А если вы приказываете в каюты матросам горячую воду не подавать, все болезни Америго Веспучи, а подавать только в вашу каюту, то котел не просто выходит из строя, он взрывается, какдохлый аллигатор с озера Титикака, и обломки его очень долго летают по воздуху.

Фу, барабаны! Больше не могу.

Вся автоматика встала, как уже говорилось, только раком, и испортилось все, что только могло испортиться.

А потом они заверещали:

— У нас еще не кончился гарантийный ремонт! Вот! Пусть теперь нам финны все отремонтируют! Кто у нас знает финский язык?

Ну естественно, финский язык знал только я.

Я думал, я поседею над этими ремонтными ведомостями, покроюсь коростой и стигматами от нервного истощения, но в конце концов я эту финскую поэму родил. “Хей-я! Вот оно выпадение кисты архиепископа!” — как говорят в таких случаях на островах Папуа Новой Гвинеи и закалывают по этому поводу свинью, а потом вождь, разжевав самый сладкий кусок, вкладывает его глубоко в рот самому почетному гостю на этом празднике жизни.

Для согласования работ приехал финн.

Папа этого проекта.

— Я, — сказал он, — папа этого проекта.

А наших налетело — в колонну по одному никогда не выравнивать: плешивые, паршивые, линиялые, все в каких-то лишаях и родинках, и пахнет от них как от стойла для зебр, особенно когда волнуются (не зебры, конечно), а называются наши: “замы”, “замы по тех” и “по этих”, “помы”, “начи”, и прочая и прочая, словом, все первые и у всех пауки на погонах. Даже с Камчатки один прискакал, красивый, как бивни мамонта.

Финн их спрашивает:

— А вы кто?

— А мы, — говорят ему, — ответственные по этому проекту замы, помы...

— Понятно, — говорит финн, — я буду говорить только с командиром, механиком и тем, кто составлял ведомость. Остальные мне (на хер финский) не нужны. Так что не обессудьте.

В общем, все вон.

И остались мы вчетвером — остальных за дверь.

Они там стояли, никуда не расходясь, и ушами шевелили, как слоны перед случкой, и изредка самый нервный слон прикладывал свое щербатое ухо к переборке и говорил остальным:

— Они там хотят... это... как это... вот это...

А что это-то, калека припадочная, кость ирландская?

Он услышал про “это” только сейчас, но от волнения даже повторить не смог.

А остальные в тот момент только горестно вздыхали.

Несравненные мои толстомордики, гульфики гнойчатые, ходячие мои сухотки мозга!

Не волнуйтесь вы так понапраслену.

Согласовали мы ведомость, согласовали.

Бегите теперь наперегонки к телефонам и докладывайте своему начальству, что только под вашим чутким руководством, папа Чипполино, старший лейтенант механических служб Козлов, изобилие идиотов, составил и согласовал ведомость гарантийных работ на финском языке. Будут вам новые котлы, будут, чтоб вы опять мылись ежедневно, ш-ш-ша-ка-лы!

А потом, партус паладино, — сказочная жизнь! Ремонт! Ремонт, мать вашу!

Норвегия, Финляндия, Швеция!

И везде уважение и везде отношение.

Я все могу сделать за такое отношение.

Я могу не спать, не жрать, я могу в дождь и в снег.

Ты только относись ко мне... Эх, да чего там...

Ну и, конечно, по возвращению мы немедленно охамели, и это естественно, потому что кроме нас все равно эту красоту никто крутиться не заставит, и когда пришло время идти нашей суперматке во главе каравана, отрыжка аргентинского удава, для того чтоб доставить всем северным оленям лыжи и валенки, на палубу ступил начальник экспедиции капитан первого ранга, блестящий, как мечта олигофрена.

А мы его не то чтобы сразу “на колу вертели”, нет, конечно.

Просто не прониклись к нему должным уважением, я так считаю, и когда он потребовал для себя каюту механика освободить, Витя Попов — ударение на первом слоге — наш механик, возмутился:

— У меня там электроники полная каюта, связь и компьютеры!

— Что? Вы возражаете? Как ваша фамилия?

И через два часа этот пришлый капитан первого ранга, губы толстолобика, вручает ему телеграмму, по которой Витя наш снят с должности, понижен в звании, снова назначен, но в другое место, и проездные документы ему уже выписаны до этого места. В общем, как говорил один мой знакомый своей любимой девушке: “Вы сломали мне гнома”.

— Ни хрена себе! — сказал Витя. Он от обиды даже протрезвел. — Меня посылают на... ни хрена себе!.. — и ушел с корабля. Совсем. В чем был. Даже без фуражки. В одних шлепанцах.

И остались мы без механика.

Вызывают меня. Сидит командир и этот хер заоблачный.

— Вы, — говорят они мне в один голос, — с сегодняшнего дня назначаетесь механиком этого корабля

И у меня, знаете ли, сейчас же образовалась гусиная кожа на руках, а на спине мурашки, пупырышки, каждая пупырышка размером с бенгальскую мандавошку.

— Вы чего, — говорю, — товарищ командир. Я ведь только электрик, и вы меня в механики перед походом не заманите. И потом у меня.. эта... бабушка умерла... вчера... я как раз хотел вам о похоронах доложить.

И сейчас же у всей команды тоже немедленно все ближайшие родственники в один миг загнулись.

Грандиозный падеж.

Папы, мамы, бабушки, дедушки.

Все прислали телеграммы, подписанные в морге и заверенные в военкомате.

И у всех похороны в ближайшую пятницу.

У офицеров, мичманов и матросов.

— Это бунт! — вскричал тот малопонятный капитан первого ранга, начальник экспедиции, и побежал телеграфировать в то место, откуда только что сняли нашего механика.

И на следующий день налетело столько капитанов первого ранга, что и представить себе невозможно.

Я и не знал, малые половые губы таитянки, жены Ван Гога, что такое количество капризов у нас в одном месте можно собрать.

Все они сели по каютам, афродитовы щели, и начали с нами ласково разговаривать, но наши, чушки на макушке, все прошли — и Крым, и рым, и пять километров канализации, так что держались до последнего молодцами, мотали головами и говорили, что им срочно нужно, к примеру, “маму хоронить”.

Тогда они взяли за окончательно созревшую промежность нашего капитана и стали с ним беседовать, и после эти беседы, яйца царя Мидаса, от него осталось только место вонючее и глаза безумные, а человека больше не было.

То есть не было в нем ничего человеческого, небеса Тасмании: ни стати, ни голоса, ни совести, ни чести.

Наконец выяснили, что бунт возник из-за механика, вернее, из-за того, что этот тип — начальник экспедиции — приказом из Москвы перевел нашего механика к маме Фене.

— А-а... вот оно что. И где же он теперь... ваш механик?

— Уехал (к маме Фене).

— Как это уехал?

— А так.

— Вернуть! Немедленно поймать! Найти! Достать! Догнать! Доставить! Привести!

И побежали гонцы врассыпную по городу, и достали они механика в одном очень часто посещаемом трипперном месте — никуда он не уехал, потому что от расстройства загулял.

И доставляют нашего механика, скорлупа от кокоса, а на нем разве что только мокрый недожеванный презерватив не болтается, перед светлые очи комиссии по бунтам.

— Вы это чего это? — говорит ему комиссия.

— А чего меня этот козел из каюты выгнал? — говорит механик и дышит чесноком.

И никого не смущает острота формулировок, и сейчас же все кивают, мол, козел, всенепременнейше козел, и приказ о возвращении механика тут же подписан, и каюта ему возвращена, и бунт немедленно прекратился, и пошли мы во главе каравана на Северный полюс снабжать это место валенками и лыжами.

Как вернулись, всех разогнали, колченогие имажинисты.

А корабль наш чудесный продали, клянусь очами. Китайцам.

По цене металлолома.

КАК ПИШЕТСЯ РАССКАЗ

“Ровно в 12 часов по Гринвичу Петя Касаткин закрыл свой рот.” Действительно, а чего бы Пете Касаткину не закрыть свой рот? По Гринвичу. Интересно, зачем он его вообще отрывал? А вот и чьи-то голоса:

— Между прочим, наш зам, судя по всему, в прошлой жизни был конским слепнем.

— Навозом он был. Конским.

— Да нет, у него склад ума татарской женщины.

— А у вас шаловливое лицо.

— Хорошо еще, что не шалавистое.

— Слушайте, мажenuар — это одеколон или мужик?

— Ну ты, слепок с античной ночной вазы, чего застыл с алебардой?

— Дождались! Сцена пятая, картина седьмая, те же и тень отца Гамлета.

Голоса слабеют и пропадают.

Я пишу рассказ. Я пишу его в любое время: когда стою, сижу, лежу, еду. Могу из-за рассказа уехать не туда. “Ровно в 12 по Гринвичу...” Он начинается всегда с одной только фразы. Вот как эта. Главное — не торопить рассказ, и он пойдет сам. А ты вроде бы и не при чем. Ты наблюдаешь со стороны, как он обростает словами, и как слова соединяются друг с другом, как они друг в друга влюбляются, вториваются, втюхиваются, и как они изменяют друг другу, бросают на полпути. А потом с какого-то момента вдруг пошли, пошли люди, лица, события. Они хлынули, они мешают друг другу, и половина рассказа уходит неизвестно куда, так никогда и не попав на бумагу.

Может быть, когда-нибудь память вернет их?

Вполне может быть.

А может быть, и нет.

А раз нет, значит, так и должно было случиться.

БЕГЕМОТ



**У Б. вальковатое, массивное туловище
на коротких толстых ногах.**

*Жизнь животных. Млекопитающие.
Под ред. акад. В.Е.Соколова*

БЕГЕМОТ

Эй вы, бродяги заскорузлые, инвалиды ума!

Именно вам мое повествование предназначается, хотя кому как не мне следовало бы знать, что вам, в сущности, на него наплевать.

На самом-то деле вам бы, конечно, хотелось выкушать бидончик вина и, в чудеснейшем настроении, ухватив ближайшую тетку за танкерную часть, потерять на некоторое время малую толику своего соколиного зрения и на ощупь проверить, все ли там у нее в наличии и на прежних местах.

Ах вы черти полосатые!

Нельзя ни на минуту оставить вас без присмотра!

Обязательно залезете даме в ее макроне.

Между прочим, должен вам сообщить, что Бог придумал для человека очень смешной способ размножения: существует, видите ли, некоторый шарик, который, при известных обстоятельствах, накачивается — не воздухом, конечно, а жидкостью.

Шарик, в обычное время висящий мокренькой тряпочкой, можно сказать, сейчас же встает, и даже тянется к небу, видимо возносит к нему свои желания, и в этот момент изо всех сил работает насосик-сердце, ко-

торое тюкает-тюкает, бедняжечка, и накачивает этот шарик, поддерживая его вертикальную жизнь.

А потом человек сует его во всякие дыры, всячески пытаюсь сломать.

И при этом все мы офицеры флота! (Черви в мошонку!) И только и делаем, что печемся о процветании Отчизны милой!

Вагинические пещеры и бесформенные куски сиракузятины! Конечно же, о процветании, о чем же еще!

Сливки различных достоинств и жупелы чести!

Истинные кабальеры!

В сущности, мы еще даже не начали наше повествование, но мы его начнем, после небольшого вступления о маме-Родине.

Мама-Родина представляется мне в виде огромной, растрепанной, меланхолически настроенной совершенно голой бабы, которая, разбросав свои рубенсовские ноги, сидит на весеннем черноземе, а вокруг нее бегают ее бесчисленные дети, которых она только-только нарожала в несметных количествах. А она пустой кастрюлей — хлоп! — по башке пробегающему ребятенку; он — брык! — и она сейчас же наготовила из него свежего холодца с квасом, чтоб накормить остальных.

Фу ты, пропасть какая! Ну что за видения, в самом деле! Ну почему так всегда: вот только подумаешь о Великом, как тут же какие-то несметные тучи всяческой дряни вокруг этого Великого немедленно нарастут!

Нет уж! Лучше думать чем-нибудь личном, не затрагивая этой удивительной территории, более всего напоминающей тунгусское болото, кишмя кишящее всякой малообразованной тварью, куда только кинешь камень с ка-

ким-нибудь новым, пока еще редким названием кого-либо или чего-либо, и тотчас же вонючие газы-метаны после — бултых! — вырвутся наружу, а потом кружки-кружочки, и все затянулось аккуратненько по-прежнему.

И можно идти и идти по этой территории, через одиннадцать часовых поясов, и хохотать во все горло, и закончить хохотать где-то в Магадане, сорвавшись со скалы на виду у всего птичьего базара.

Нет, друзья мои, лучше о мелком, о личном, о частном, не трогая общих закономерностей, потому что к чему? Зачем? Ну что нам с того? Лучше вспомнить о чем-нибудь.

Вспомню ли я во всех подробностях и наисладчайших деталях те достославные времена, когда мы с Бегемотом оказались на обочине своей собственной прошлой жизни.

Помереть мне на месте, именно там — на обочине.

Проще говоря — нас выперли.

Вернее, уволили в запас с воинской службы.

В общем, открыли форточку — “кто хочет наружу?!”, и мы переглянулись — сейчас или никогда! — и вылетели в три окна, как два осла, временно снабженные перепончатыми крыльями.

И то, что снаружи, нас оглушило.

Точнее, нас оглушила свобода: можно было петь, орать, скакать и сосать свои собственные пальцы.

Потому что снаружи была жизнь.

И жизнь нас уже поджидала.

И жизнь немедленно поперла на нас, как двадцать взбесившихся трамваев, через гам, лай и вой клаксонов на перекрестках и шлепки дождя по седому асфальту.

И мы к этому уже были готовы.

То есть мы вдыхали этот восхитительный, этот прохладный, как стакан газировки, этот живительный, с иголочки, воздух.

То есть мы хотели тебя — жизнь, и ты, как мерещилось, хотела нас.

Правда, прошлая жизнь, все еще оскалившись, хватала нас за штанину, но мы ее палкой по зубам — “сгинь, подлая!” — и она убралась восвояси ко всем чертям, и имела она при этом вид начальника отдела кадров капитана третьего ранга Прочухленко по кличке Стрепунок, которого бы я лично в чистом виде с аппетитом удавил и который при нашем увольнении в запас так суетился, паразит, чтоб нам где-нибудь нагадить, то есть чтоб нам на пенсию не хватило одного процента, а лучше целых трех (сука-тифлисская-была-его-мама-моча-опоссума-ему-на-завтрак).

А наш дедушка адмирал, провонявший в подмышках, на прощанье призвал нас и спросил, чем же мы думаем заниматься на гражданке. И я сказал ему: “Фаянсом”.

Я специально выбрал такое слово, чтоб после не было никаких дополнительных вопросов. И если в фарфоре наш могучий патриарх еще мог что-нибудь этакое мохнатое вставить, то слово “фаянс” повергло его в исступление, как если бы я ему предложил немедленно переталмудить все мысли Конфуция со свежемандаринского сразу же на старочухонский.

Но справедливости ради следует отметить, что он тут же совершенно справился с собой и кивнул с пониманием, после чего он перевел свой взгляд на Бегемота.

Тот, в добродушии своем, просиял и доложил нашему выдающемуся стратегу, что он будет разводить кроликов.

— Кроликов?! — казалось, папу нашего посетил шестикрылый серафим. — Кроликов?! — он налился дурной венозной кровью — сейчас умрет. — ... Ка... ких кроликов?!

— Рогатых! — хотел вставить я, чтобы перевести разговор в энтомологический или в крайнем случае в психологический пласт, но постеснялся, тем более что Бегемот сказал: “Домашних”.

Что было потом, описать не берусь.

Вернее, опишу, конечно, но боюсь, красот метафорических не хватит.

Очень бледно все выглядело следующим образом: наш славный дед схватился за собственные щеки и застонал, а потом зарычал, завизжал, закривлялся.

— Боевые офицеры! — верещал он. — Выращивают кроликов! Почему?! Почему я не умер на сносях! При родах! В зародыше!

Больше я ничего не помню, потому что все происходило как в дыму сражений, когда от волнения видишь только чьи-то дырявые подошвы, и нет для тебя интересней зрелища.

Говорят, папа потом два дня останавливал всех подряд и говорил, что боевые офицеры теперь выращивают кроликов, а потом его с почечными коликами увезли в наш замечательный госпиталь, где врачи довели ему это дело до обширных метастаз только затем, чтобы потом его прах развеять над Северным Полюсом.

Леживал я в этом госпитале, господа, леживал. Это такая, я вам скажу, засада — крысы, матросы, вечно скользкий галльюн.

Там все заново проходили курс молодого бойца.

Там командиры дивизий, седые в холке, после того как их одевали в ватный халат, из которого торчала их тонкая, как у страуса, шея и голова, немедленно обращались в полный хлам, и перед ними грудастые медсестры ставили трехлитровую банку со словами: “За сутки наполнить!” — и он в первые секунды стеснялся даже спросить, чем наполнить, мочой или александрийским калом,* а потом — “мочой, конечно, вы что, совсем уже?” — и он, томясь, жене по телефону: “Леночка-а... привези, пожалуйста, два арбуза, здесь нужно мочой...” — а мы ему: “Михалыч, не волнуйся! Давай мы тебе немедленно нассым полведра...” — а в углу лежал заслуженный адмирал, весь утыканный трубками, как дикобраз иглами, по одним в него дерьмо наливалось, по другим — выливалось, который, утирая слезы, говорил: “Ка-на-ус, едри его мать! Я уже не могу, сейчас от смеха все трубки оборву!”

А в другом углу лежала личность, которая во всех отношениях казалась нормальным человеком, если только дело не касалось бирок и его личного здоровья.

Личность харкала в баночку, специально для этой процедуры припасенную, а потом рисовала на бирочке: “Харкнуто таким-то тогда-то”, а у меня, знаете ли, руки чесались от желания приписать: “В присутствии такого-то”.

* Почему александрийским? Потому что хозяина зовут Александром, а если б его звали Степаном, был бы степанийский.

Педикулес, в общем! То есть я хочу сказать, что каждый надувшийся гондон мнит себя дирижаблем!

**Вот почему мы с Бегемотом решили
оставить воинскую службу**

А оставить ее можно было только после показательного учения по выходу в ракетную атаку.

Нам так и сказали: “А вы как думали?!”

А мы с Бегемотом и не думали.

Я вообще не помню, чтоб мы с ним когда-либо думали.

Если вы посмотрите пристально на Бегемота, то увидите только глаза-пуговицы, вздернутый нос и отчаянно всклокоченные космы, и вот тогда-то вы поймете, что думать Бегемот не может, у него для этого времени нет.

Он может только действовать, причем очень решительно.

Его однажды заволокла к себе какая-то баба, и когда Бегемот вошел в прихожую, то обнаружилось, что его не за того приняли, что его приняли за человека с деньгами, и теперь, впятером, пытаются ограбить и прежде всего раздеть.

Бегемот первым делом вышиб бабе все ее зубы, а потом, пробежав на кухню, выпрыгнул со второго этажа вместе с оконной рамой.

Так что если на улицу можно попасть только после ракетной атаки, то мы ее вам, будьте любезны, устроим в один момент.

Мы к этому учению полгода готовились.

Теперь самое время сообщить, чем же мы, в сущности, с Бегемотом занимаемся.

В сущности, мы с Бегемотом готовим мичманов — эту нашу русскую надежду на профессиональную армию — к ракетной атаке.

Полгода ни черта не делали, кроме как учили ракетную атаку.

Всех этих наших олухов выдрессировали, как мартышек.

Те у нас чуть чего — прыг на тумбочку — и лают в нужном направлении, а на стенде в эти незабываемые мгновения лампочки загораются: “Начата предстартовая подготовка”, “Открыты крыши шахт”, “Стартует первая” — красота одним словом.

И вдруг какому-то умнику из вышестоящих пришлось в голову, что в самый ответственный момент у нас шееры залипнут.

— Так не залипали ж никогда!

— А вдруг залипнут? Ну нет! Это адмиральская стрельба! Вы просто не понимаете ситуации. Давайте внутрь пульта Кузьмича с отверткой посадим. Он, по моему, единственный из вас, кто соображает. Если шеер залипнет, Кузьмич воткнет отвертку куда надо и замкнет что следует, и атака не захлебнется. Нужно мыслить в комплексе проблемы.

Тут мы не нашлись, чем возразить.

Кузьмич здоровый, как слон, и как он, бедняга, туда внутрь влез, как таракан в будильник, никто не знает.

Но!

Организацию предусмотрели, сводили его пописать и дырочку просверлили, чтоб он видел происходящее,

через которую он даже покурил два раза, потому что мы ему с этой стороны сигарету вставили.

И вот прибыла московская комиссия с адмиралом во главе — принимать у нас ракетную атаку.

Сели (Кузьмич на месте, потому что глаз из дырочки торчит), проорали “Ракетная атака!”, и те удивительные, знаете ли, события сами по себе стали разворачиваться.

Сначала все идет как по маслу: команды следуют одна за другой, мичмана вопят, как недорезанные дюгони, и лампочки, как им и положено, загораются.

И тут вдруг вроде дымком запахло, вроде мясо на сале жарится, но все делают вид, что почудилось, и я сейчас же замечаю, что у Бегемота волосы на жопе встали от предчувствия.

То есть я хотел сказать, что они у него встали на голове, но у него, у Бегемота, такая странная особенность наличествует, что если встали на голове, то обязательно и на жопе тоже — короче, ментальность у него, у Бегемота, таким образом проявляется.

А у меня прыщики в носу появляются.

Нос сначала чешется вроде, а потом краснотой наливается.

Бугорочки на глазах просто зреют и внутри их ощущается давление, и кожа становится упругой, блестящей, так и тянет почесать, огладить.

Как опасность — так и наливаются.

Я Бегемоту говорю: “Посмотри, пожалуйста, у меня нос наливается?” — а он мне: “Заткнись!” — а сам смотрит на пульт.

Это оттуда дым валит, и мало того, что валит, так он еще и разговаривает и вздыхает: “Ой!” (дым сильнее, и

голос с каждым разом истончается, в нем появляется все больше беременных нот) — “Ой, мама!” — и пульт колышется, вроде как дышит грудью вперед, — “Ой, елки!” — и наконец с криком “Ой, бя!” пульт падает вперед, и на него вываливается наш Кузьмич с дымящейся задницей.

Скорее всего, он там, пока сидел с отверткой и следил за шеером, жопой замкнул совершенно посторонний шеер и терпел, поскольку человек-то он у нас добропорядочный, пока у него мясо тлеть не начало.

И тотчас же все забежали: “Где огнетушители?! Огнетушители где?!”

А огнетушители у нас в коридоре через каждые полметра стоят, но все они не работают, потому что перед самой комиссией их покрасили и ту дырочку, через которую они пеной ссут, от усердия замазали.

В общем, поливали Кузьмичевскую задницу заваркой из чайника, и при этом, наклонившись, пинцетом все пытались зачем-то отделить горелые штаны от кожи.

Для чего это делалось — не знаю, но Кузьмич в это время на весь коридор орал: “Фа-шис-ты!!!”

Именно в такие секунды мне в голову лезут китайские стихи:

Монах и певичка
Ночь провели
В любовных утехах
Без сна.

И я вам даже не могу сказать, почему это со мной случается.

А Бегемот потом, когда мы уже за здоровье Кузьми-
чевской многострадальной задницы выпили и закусили,
говорил мне:

— Саня, я знаю, как разбогатеть.

И я смотрел на него и думал, что вообще-то самое
замечательное место на лице человека — это глаза.

Их плутовская жизнь оживляет уголки глазных впа-
дин — там появляются лучики морщин, они разбега-
ются, как водомерки, затем приходит в движение носо-
губная, передающая эстафету уголкам рта, потом лицо,
ставшее необычайно рельефным, вдруг округляется, за-
порошенное пушком, может быть, даже младенческой
мягкости, что ли.

— Природа-блядь! Когда б таких людей ты изредка
не посылала б миру...

Прервали.

Возник очередной тост, прославляющий нашего Кузь-
мича и его долготерпение относительно задницы.

После чего все полезли друг друга целовать, потому что
на воинской службе, понятное дело, не хватает нежности.

— Гниение не остановить! — это мой непосредствен-
ный начальник. Он как выпьет, так сразу же превраща-
ется в философа с космическим пониманием всего.

Гниение не остановить, — повторил он, вцепившись
мне в плечо. — Ведь все вокруг: небо, цветы, шакалы —
все результат гниения. Жизнь — это гниение. Так что
не остановить.

Нельзя быть настоящим мудрецом, — продолжил
он без всякой связи настоящего с предшествующим,
— имея внутри кишечник, наполненный дерьмом. Это
удивительно: человек мыслит и гадит, мыслит и гадит.

Но, слава богу, отрезками. Отрезками мыслит, отрезками гадит. А то что бы мы имели — завалы мыслей и дерьма.

Мой начальник остановился и вперил свой орлиный взгляд в правый угол комнаты.

Требовалось срочно сообщить его могучему разуму новое направление.

— Александр Евгеньич! Знаете первый признак лучевой болезни? Хочется спать, жрать, и кажется, что мало платят.

— Вот! — отстал он от меня. — Люди! Какие вы мелкие!..

И меня снова перехватил Бегемот. Тот все бредил о кроликах.

— Видишь ли Саня, устройство желудка у них таково, что это животное непрерывного питания. Учти! Кролик ест очень мало, но часто, и если его не кормить постоянно, а только три-четыре раза в день, то он переедает и подыхает. Нужна клетка с непрерывной подачей пищи и автоматическим отводом кала, который по наклонной плоскости попадает в курятник, и там его куры поедают, то есть экономится корм и для тех, и для других.

Знаете, иногда мне все же кажется, что Бегемот, как и всякий военный человек, не совсем нормален. Но потом, незаметненько для себя, я увлекаюсь, и на полном серьезе начинаю с ним обсуждать организацию разведения пчел, мидий и перепелов на подоконниках.

Особенно часто такое со мной случается, если речь идет о вещах экзотических — о добывании космической пыли или выпаривании золота из списанных приборов.

А недавно мы с ним долгое время говорили о вытравливании застарелой проказы с помощью нафтеновых кислот.

Мы потратили на это часа полтора, и он меня почти убедил, что после применения этой дряни оставшиеся в живых избавятся от проказы навсегда.

Здесь следует остановиться.

Я люблю вот так, посреди разговора о проказе, остановиться и внимательнейшим образом осмотреть свои пальцы.

Все-таки пальцы гения.

То, что я — гений, я заметил давно.

Потому что выдержать напор Бегемота в деле поливания язв кислотами может только гений. Ему мозг буравят, а он — хлопбсь! — и уже полетел, лия рулады, в поэтические дали, где имеется Амур-задрыга и голый Плутон недр.

После этого уже безболезненно для себя возвращаешься назад в свое тело, чтобы выслушать очередное: “А давайте из списанных подводных лодок сделаем танкера, чтоб, пройдя подо льдами, снабжать горячим районы отсталого севера. Но нужна государственная поддержка. И я даже знаю, кто это поддержит. Есть такой человек в правительстве. А при всплытии пятиметровый лед придется рвать боевыми торпедами, и в случае возникновения пожара под водой горящее помещение немедленно заполняется фреонами 112, 118!”

Все-е!

Не могу!

Хочется освободить чукчей навсегда.

— Чук-чи! — хочется сказать им, — вы свободны навсегда!

И от топлива тоже.

Лучше все это пусть опять зарастет вечной мерзлотой, а мы будем у вас устраивать сафари и стрелять ваших полярных гусей среди девственной экологически чистой природы чистыми керамическими пулями.

Заседлайте мне оленей, чукчи, чум вас побери!

Между прочим, если пристально посмотреть на карту, где-то там, между торосами, затерялся уникальный совхоз по выращиванию племенных быков.

Совхоз находился в заведовании у военно-морского флота, потому что так всегда: если кругом ни хрена нет, то все это находится в заведовании у военно-морского флота.

А потом сперму быков, выращенных рядом с белыми медведями, доставляли в Киргизию и там уже закачивали киргизским телкам, а приплод женского пола доставляли по железной дороге в Беловежскую пушу, где он длительно насиловался с помощью зубров и на выходе получался такой живой вагон с рогами, что он даже в сарай не помещался. Корми его хоть ветошью отечественной, а он все равно вырастет с вагон.

Потом, конечно, когда все вокруг уже разрушили, никак не могли найти, кому следует перекачивать эту сперму, которой много скопилось, и через подставных лиц звонили Бегемоту из Нарьян-Мара.

И Бегемот, воодушевленный таким количеством беспризорных молок, предлагал их всем подряд.

Звонил и говорил:

— Сперма нужна?

Пристроили ее потом в Южную Корею для участия в ежегодном фестивале корейских масок.

А однажды быков вместе с возбуждающими их телками перевозили военными вертолетами с пастбища на пастбище.

И часть пути нужно было лететь над водной гладью.

И тут одна телка отвязалась и, очумев от болтанки, принялась всех безжалостно бодать.

Так ее просто выпустили.

Открыли дверь, и она сиганула вниз.

А внизу сейнер плавал.

И попала она точно в сейнер.

Корова пробила его насквозь, и он мгновенно затонул.

Спаслась только кокша-кухарка, которая вылезла на верхнюю палубу и, задрав голову вверх, пыталась рассмотреть, откуда это сверху несется такое катастрофическое мычание.

Бац! — и кокша сейчас же в воде с блестящими глазами западносибирской кабарги. И она ничего потом не могла объяснить: как это — му! — а потом сразу вода.

Ее спрашивали, а она, досадой сотрясаемая, все твердила: “Му — и вода! Му — и вода!”

“О, это невыносимое пение сирен, льющееся из клиники туберкулеза”, — как сказал бы один очень известный поэт.

Не уверен, что в этих выражениях можно описать все вибрации, исходящие от плавающей кухарки, но уверен в том, что это хорошо, холера заразная, это лирично, это красиво, черт побери!

А красота, как правильно учат нас другие поэты, имеет право звучать как попало, где придется.

Отзвучала — и люди, пораженные всеми этими звуками, должны замереть и подумать о своем высоком предназначении.

Вот я, к примеру, когда слышу все эти красоты, сразу замираю и думаю о чем-то клетчатом.

И когда я слышу: “А давайте с помощью архимедова винта поднимем подводную лодку”, — я тоже замираю с головы до жопы и внимаю тому, как лимфа бухает своими детскими кулачками в лимфатические узлы, неустоимая, как молодые бараны. Тин-тилидон! Тин-тилидон! — а это уже слезы весны.

Видимо, слезы радости.

А еще хорошо слушать, как шепчутся божьи коровки и милуются клопы и стаффордширские слоники где-то там, на листе за окном, и сейчас же стихи, да-да, конечно стихи, сначала шорох, щелчки какие-то, неясное турули — а потом стихи, того и гляди падут невозвратно, как капля борща на ступеньки собора, если их немедленно не записать:

Глафира, Глафира, Хахаха-хаха!
Вчера я нашел во дворе петуха!
Издых!
От любви, я надеюсь, почил
Не так он точило свое поточил,
Но я же Глафира, ле-бе-дю-де-дю!
По этому поводу всячески бдю!
Не бойся!
Не мойся!

Кстати, мне сейчас пришло в голову, что с помощью этих стихов можно будет объяснить некоторые особенности военного человека.

В частности, болезненные состояния его ума.

Видите ли, военнослужащий очень часто превращается в идиота.

И не всегда удается сразу распознать, что это превращение уже произошло.

Оно всегда неожиданно. Ни с того ни с сего. Ты с ним говоришь, а он уже превратился.

Оттого-то и приходится много страдать.

И я думаю, что все это происходит потому, что в какой-то эвдемонистический период своего развития военнослужащий переполняется всякой чушью и на время теряет способность отделить реальность от своих мыслей о ней.

Таким образом он мимикрирует, то есть заслоняется от реальности, то есть сохраняет себя.

Вот наш командующий

Тот всегда думал вслух.

Выскажется — и все сейчас же бросаются исполнять, овеществлять это высказывание, — а он и не рассчитывал вовсе, не предполагал, не хотел — и получается кавардак.

Но порой что-то с хрящевым хрустом втемяшивалось ему в его башку, что-то, как всегда, оригинальное, с перьями, и все в этом непременно участвуют, напря-

гаются, чтоб повернуть вспять, то есть раком, все законы логики, динамики и бытия, и поворачивают, и опять получается ерунда.

Словом, ерунда у нас получается в любом случае: и когда он просто мыслил, и когда те мысли воплощались.

Вот уперли у распорядительного дежурного два пистолета из сейфа. Всю базу подняли по тревоге на уши и искали два дня без продыху.

Но с каждым часом все с меньшим накалом.

— Они же не ищут! — возмущался командующий, когда собрал в кабинете всех начальников. — И я вам докажу, что не ищут! Начальник плавзавода! Немедленно изготовить двадцать деревянных пистолетов, покрасить и разбросать в намеченных местах. И мы посмотрим, как их найдут!

А начальник плавзавода, нерешительно приподнимаясь со своего места во время такого приказа, вначале напоминает человека нормального, повстречавшего человека не совсем в себе, но потом, словно озаренье какое-то, просветлев лицом: “Да, товарищ командующий! Есть, товарищ командующий! Правильно, товарищ командующий! Я и сам уже хотел, товарищ командующий!” — и нервно бросается в дверь делать эти пистолеты, которые потом разбросали где попало и которые потом искали всем гамбузом нарядом с настоящими, чтоб доказать, что ничего не ищется, да так и не нашли: ни натуральных, ни поддельных.

То есть, как и предполагалось, прав был командующий — а кто же сомневался — никто ни черта не делает!

И вот поэтому, желая сохранить в себе способность отделять зерна от плевел, мух от котлет и фантастику от неслыханных потуг бытия, мы с Бегемотом и решили уйти с военной службы.

К червонной матери

Хотя, пожалуй, порой мне даже кажется, что этой способности удивлять окружающий мир мы с ним еще не скоро лишимся, потому что только недавно жена Бегемота, сдувавшая пыль с его орденов, обнаружила в нагрудном кармане его тужурки непечатый презерватив и спросила: “Сереженька, это что?” — “Это приказ, — сказал Бегемот, ничуть не смущаясь, — вокруг СПИД, — продолжил он с профессорско-преподавательским видом, расширив глазенки, — вокруг зараза. Поэтому всем военнослужащим, независимо от должности, приказано иметь при себе презервативы, чтобы противостоять заразе!”

— Слушай, — позвонила мне его жена, не называя ни имени моего, ни чего-либо другого, в двадцать пятом часу ночи, — а правда, что есть приказ иметь при себе нераспечатанные презервативы для предотвращения проникновенья заразы в войска?

— Правда, — сказал я, горестно про себя вздохнув и посмотрев на часы ради истории, — приказ номер один от такого-то. Всем иметь в нагрудном кармане рядом с носовым платком отечественные презервативы. И на смотрах проверяют. Вместе с документами. Даже команда такая есть: презервативы-ы

пока-зять! — и все сейчас же выхватывают двумя пальцами правой руки из левого нагрудного кармана и показывают. У кого нет презервативов, два шага вперед...

А затем следует команда: пре-зер-ва-ти-вы на-адеть! — сказал я уже самому себе, залезая под одеяло.

Сволочь Бегемот — вот что я думаю.

Толстая безобразная скотина.

На четвереньках должен ползать перед этой печально невинной женщиной.

И целовать ее тонкие пальцы.

Но на ногах.

А потом, сквозь уже дремучую дремоту, я вспомнил все эти смотры, осмотры, запросы-опросы-выпросы и то, как я выхватывал (не презервативы, конечно) платок, который от долгого лежания в кармане обрастал грязью на сгибах, и ты его сгибаешь в другую сторону, чтобы показать чистые участки, а на следующем смотре — вообще-то ты серьезный, здравомыслящий человек — опять старательно ищешь на нем свежие места и радостно находишь, а в конце года развернул тот платок, а он — как шахматная доска, черные и белые квадраты.

Господи! Все-таки здорово, что мы с Бегемотом уходим со службы к дремлющей матери.

Потому что я лично уже не могу.

Господа! Не могу я смеяться каждый день, я скоро заикой стану.

Да, вот еще что

Перед самым уходом нам вдруг заявили:

— Ничего не знаем, но уходя вы должны еще сдать экзамены по кандидатскому минимуму.

— По какому минимуму?

— По философскому. Что, что вы на меня так смотрите, не помните что ли?

— Ах, да-да-да...

— А то вы слиняете, а нам разбираться.

Понимаете, какое-то время тому назад, сдуру естественно, мы с Бегемотом решили писать диссертацию на тему “Ракетный двигатель — это нечто...” — и все для того, чтоб получить продвижение по службе.

У нас же всегда так: то не двигаешься годами, а потом вдруг — бах! — и выясняется, что не двигаешься из-за того, что диссертации нет, хотя того, что у тебя внутри накоплено в виде натурального внутреннего опыта, хватило бы на десять таких диссертаций, и ты это чувствуешь, чувствуешь, и эти чувства не проходят даром, и какое-то время ты действительно увлечен этой идеей, и даже хочешь написать диссертацию, но только вот как же все это оттуда достать, то, что у тебя внутри схоронено, как извлечь, не повредив.

Извлечь, изъять, показать, предъявить, и все остальные чтоб тоже поняли, что ты — ходячая энциклопедия, — вот это самое сложное — но, черт с ним, по дороге что-нибудь придумается — и ты уже приступаешь к извлечению этих твоих нутряных знаний, уже нервничаешь по поводу того, что у тебя из всего этого получится, но тут опять — бах! — и ты увольняешься в

запас, потому что предложили, потому что больше никогда не предложат и потому что нужно скорей, а то опять все передумают, перепутают, ушлют тебя куда-нибудь к совершенно другой матери, вот только экзамены по кандидатскому минимуму надо сдать, а то посещали занятия в рабочее время.

Нехорошо

Да.

Занятия-то мы посещали, но только я почему-то где-то глубоко внутри был убежден, что нам все это никогда не потребуется, не говоря уже о Бегемоте — тот у нас вообще круглый балбес по поводу всех этих декартовых глупостей.

А я вот помню только первый закон, чуть не сказал Ньютона: материя первична, сознание — вторично, — и все, но, слава Богу, это все-таки основной закон нашей философии, остальные законы, по-моему, возникают из тщательно подобранной комбинации этих четырех слов.

Так что выкрутимся, надеюсь.

Как-нибудь.

И отправились мы на экзамен.

Я вызвался первым сдавать, потому что терять, собственно говоря, нечего.

Открываю билет — а там, как заказывали, первый закон.

— Можно без подготовки?

— Пожалуйста.

— Материя, — говорю я философу с легким небрежением, — первична, а сознание, как это ни странно, вторично!

— Хорошо, — говорит он мне, — а как звучит вторая часть первого закона?

Я подумал, что он меня не понял, и повторил еще более вразумительно:

— Ма-те-ри-я пер-вич-на, а сознание...

— Но вторая, вторая часть...

— Вторая часть, — говорю я ему, а сам чувствую, как меня заклинивает, — первого закона выглядит так: соз-на-ние... вторично (главное не перепутать)... а материя... первична...

И тут он замечает по документам, что я восемь лет как уже капитан третьего ранга, и это его несколько успокаивает относительно оригинальности моего мышления.

— Ну, хорошо, — говорит он, — переходите ко второму вопросу.

А второй вопрос у нас был: "Социальные аспекты, рассматриваемые в материалах XXVII съезда КПСС".

Видите ли, вся трагедия моего положения заключена в том, что я с детства не понимаю слова "социальное", а мне все время кажется, что это вроде как "общественное", и больше я к этому добавить ничего не в силах, я могу бредить полчаса в родительном падеже — "социальном", "социального", могу склонять: "я — социальное, они — социальные", — а объяснить ну никак не получается у меня. Поэтому я заявил:

— Практически все аспекты, рассматриваемые в материалах XXVII съезда КПСС, так или иначе связаны с социальными сферами человеческого поведения...

И тут он начинает понимать, что для меня “социальное” — тайна за семью печатями:

— А что такое “социальное” — как вы это понимаете?

— Социальное?

— Да.

— Ну, это как общественное.

— Ну а все-таки, что такое “социальные вопросы”? Вот, к примеру, о чем вы думаете постоянно? Что вас постоянно заботит? Не дает вам спать?

— Постоянно?

— Да.

И тут я, может быть, в первый раз в жизни, покрываюсь жгучим потом и говорю медленно, чтоб не ошибиться:

— Меня постоянно заботит... идея торжества социализма во всем мире..

Инструктор политотдела рядом сидел, так он с головой ушел в пепельницу с окурками, отрывая пепел и охнарики.

Так смеялся, так не мог в себя прийти.

Оказывается, “социальное” — это сады, ясли, квартиры, зарплаты... — вот что меня должно постоянно заботить, вот от чего я должен не спать ночами.

— Сколько тебе надо? — спросили меня.

— Три балла, — ответил я и получил свою тройку.

А Бегемоту тут же поставили два шара, потому что он старший лейтенант и у него налицо способности к росту.

— Слушай, — подошел я к философу, — поставь парню три балла, а то его из-за этой двойки еще со службы уволят, не приведи Господь. Ну хочешь, я вме-

сто него еще раз тебе это все сдам?

— Не хочу, — сказал философ, и Бегемот получил “удовлетворительно”.

После чего мы и оказались на улице

Как все-таки там хорошо!

Вот идет по улице человек, а на нем ядовито-синяя болоньевая куртка, а под ней донашиваются черные флотские брюки и ботинки, и он улыбается.

Это наш человек.

Это человек флота, недавно выставленный за дверь.

Он выставлен без ничего.

Он голым попал в этот неуютный, неприветливый, колючий, вообще-то говоря, мир, но он улыбается, потому что видит то, чего не видят остальные, он видит свое прекрасное будущее.

Некоторые из тех, что тоже выставлены за дверь, не видят своего прекрасного будущего.

Некоторые не ходят на улицу.

Они хотят назад (не будем называть это место).

Им страшно.

А нам с Бегемотом ни черта не страшно.

Достаточно один раз посмотреть на Бегемота, чтоб сказать: это животное страха не ведает.

И с ним хорошо мечтать.

О том, что пойдем туда, сделаем то, заработаем кучу денег и станем знаменитыми до боли в чреслах.

У вас никогда не болели чресла от того, что вы знамениты?

Еще будут болеть.

И главное, мечты — все без конца и без края.

И одна мечта порождает другую, другая — третью, третья ловит за хвост четвертую, та — крепко держит пятую, пятая — шестую...

И взгляд твой затуманивается, увлажняется от предвкушений, и возникают видения, и ты, увлекаемый ими, идешь, идешь простой, как ромашка, не ведая стыда...

Кстати, небольшое, но лирическое отступление о военном стыде.

Военный стыд — это как что?

Военный стыд как философская категория — это как то, чего нет и никогда не было.

Потому что стыд как чувство нуждается прежде всего в прививке, а у нас даже то место, на которое нужно прививать, отсутствует, не предусмотрено.

Так что мы, уволившись в запас, все делаем без стыда: воруем — торгуем — обмениваем — продаем.

“КамАЗы”

В те времена вся страна продавала “КамАЗы”.

И мы с Бегемотом, временно оставив в покое кроликов и фаянс, ринулись продавать “КамАЗы”.

Я даже знал их названия и номера.

Бегемот звонил по ночам мне, а я — Бегемоту, и вместе мы звонили еще куда-то, все время в разные места, продираясь сквозь чащу посредников, плотным войлоком окутавших страну, щедро раздавая по три

процента направо, налево, тут же входя в долю и обещая еще.

Можно было видеть людей, которые ходили и шептали: “Три процента, три процента... полпроцента...” — и мы с Бегемотом ходили среди них.

И у всех была одна улыбка.

И у всех было одно выражение лица: будто безжизненной, красной пустыней встает огромное желтое солнце, и вокруг оживает красота, а ты издали наблюдаешь эту красоту.

Это было глубокое поражение психики.

И в груди от этого поражения становилось тепло и уютно, там-то и возникало то нечто, что сообщало душе толчок, с помощью которого можно было преодолеть расстояние между мечтами, если они отстояли друг от друга далеко.

Мы входили с Бегемотом в квартиру, хозяина которой то ли убили, то ли уморили огромным количеством спирта; мы входили, аккуратненько, чтоб не замараться, толкнув дверь, когда-то обитую чем-то издали напоминающим кожу, а теперь — со следами зубов существа мелкого, но ужасно кусачего, и попадали на кухню, где, похоже, кормилось сразу несколько дремучих бродяг, и путь наш был отмечен скелетами селедок.

И можно было обойти всю квартиру по кругу, потому что так соединялись все комнаты, и выйти через унитаза, потому что он стоял на дороге последним.

Просто стоял, не подсоединенный ни к чему, потому что это был чешский унитаза, а все остальное было советским и давно сгнило.

Там, в одной из комнат, распяленный на лавке, все время спал какой-то шофер, а рядом стоял недавно распакованный компьютер, который был связан со всеми камазодержателями, а в другой комнате сидел человек, который, в зависимости от условий, то скупал “КамАЗы, то продавал, а в промежутках он пытался продать, еще не купив, и еще ему нужны были холодильники “Цусима”, которые только что разгрузились во Владивостоке и которые он брал за любые деньги, но в пределах разумного.

— У вас никого нет во Владивостокском порту? — спросил он нас, даже не поинтересовавшись, откуда мы возникли.

— У нас есть все во Владивостокском порту, — сказал Бегемот, и я посмотрел на него с уважением.

— Но нужны гарантии.

— У нас есть гарантии.

Меня всегда восхищала способность Бегемота сначала сказать: “Да! Я это могу с гарантией!” — а потом, уже не торопясь, без суеты, часа полтора осознавать, что же он такого наобещал.

Но, слава богу, русский бизнес в те времена отличало то, что на следующий день после сделки, пусть даже она была оформлена документально, можно было не водиться с этим человеком вовсе, ничего из обещанного ему не поставлять, все порвать, затереть и забыть, потому что прежде всего он о тебе забыл, запечатывал, и ему с самого начала нужно было все объяснять.

А еще он мог сам назначить встречу, но накануне у него был тяжелый день, в конце которого он сходил в баню, напился, кинулся в прорубь и всплыл уже с амне-

зией, в ходе которой он помнил только слово “мама” (или “мать”), и теперь, когда ты пришел, у них кутерьма, потому что с платежками нужно ехать в банк, а на них нужна подпись, которую он не может теперь даже подделать, просто забыл, как он расписывается, и печать, которую он в проруби потерял, хотя перед этим он надел ее на шею, чтоб потом куда-нибудь не задевать.

И вот у таких людей мы покупали “КамАЗы”

и какие-то восстановленные газовые плиты,

по поводу которых звонили в Днепрогэс,

чтоб выяснить, какие нужны:

на две конфорки или на четыре.

И таким людям, с частично утраченным самосознанием,

мы доставали других людей,

с непрестанно угасающей самооценкой,

которые к тому же обладали гипнотическим влиянием на весь Владивостокский порт,

и Бегемоту звонили ночью,

но было плохо слышно,

а потому он тоже звонил и в конце концов дозвонился до того ненормального Владивостока

и спросил, чего они хотели у него спросить,

и оказалось, что они спрашивали: “А наши проценты будут?” — на что Бегемот защебетал в трубку таким воробушком, как будто пришла весна и отовсюду просо подвезли:

— Ка-неч-но-же-бу-дут! — положил трубку и расхохотался дьявольским смехом, но это нам все равно не помогло, потому что тот, кому это предназначалось, кинулся в прорубь и при встрече с водой лишился ума.

Ума нет — считай, калека.

И никто не виноват.

Вот.

И проценты погибли.

Бегемот потом звонил во Владивосток и говорил: “Человек сошел с ума, так что не рассчитывайте”, — а там и не рассчитывали, потому что там тоже чего-то случилось, и те люди, с которыми он договаривался, куда-то подевались, и теперь там другие люди, полные грандиозных надежд.

Армяне

С армянами нас многое связывает.

И не потому, что у нас нос, крупные губы, уши и глаза-вылупосики.

А потому что все свои идеи мы сперва испытываем на них.

Вот, к примеру, возникает какая-нибудь очередная странная, но великолепная идея, и я сразу говорю Бегемоту волшебное слово: “Армяне!” — и он, выделив в непомерных количествах муцины — эти замечательные и вместе с тем очень слизистые вещества из группы гликопротеинов, образующие вязкость слюны, — звонит дяде Боре в Ереван (потому что для нас слово “армяне” рождает в душе нечто детское, мягкое, как уши гиппопотама, как будто кто-то крикнул: “Цирк!” или “Клоуны приехали”).

А дядя Боря в Ереване до сих пор самый главный человек — он пошлет кого надо и проверит где следует:

нужна ли армянам эта идея, и если нужна, то в нашу сторону немедленно выедет кто-нибудь, точно так, как это было в случае с “Ниссанами”, с которых, собственно, и начались наши отношения.

Как-то армянам потребовались машины “Ниссан-Патруль”, и они позвонили Бегемоту:

— Скажи, это не вы случайно продаете “Ниссан-Патруль”?

Конечно же,

Бегемот сразу стал продавать “Ниссан-Патруль”.

В те минуты у него было такое выражение лица, что неприлично было бы даже предположить, что он не продает “Ниссан-Патруль”,

потому что верхняя часть оногo у него выражала скорбь,

а нижняя — удаль.

И головой он встряхивал так,

что кудри летели в разные стороны,

как будто он пианист на последнем издыхании и играет “Кипящее море” Грига.

И Бегемот, прихватив меня для четного количества, немедленно помчался в то место, где ему уже три недели подряд предлагали нисаны с патрулями — надоедали, плакали, просили, чтоб он непременно звонил.

Это место называлось “Русский национальный центр”, и там обитали русские националисты, то есть люди, которые далеко не чужды были идеи соборности и духовности.

Я давно пытаюсь выяснить у кого-нибудь, что же такое “соборность” и “духовность”.

И чем, например, “соборность” отличается от “шалашовности”, а “духовность” от “духовитости”.

Но у меня ни черта не выходит.

Все говорят: “Соборность — это...” — и глаза закатывают, точно в тот самый момент получили шпиль в задницу.

И теперь, когда я слышу о “соборности”, мне сейчас же хочется выкрикнуть петушиное слово “рококо” и объявить во всеуслышанье, что мне известны пути повышения “фалловитости”.

Но ближе к русскому национализму как к явлению.

Беглого взгляда на этих людей было достаточно, чтоб понять, что в прошлой жизни все они были аскаридами, а их предводитель в бесконечной цепи превращений только что миновал стадию — свиной цепень.

Было в них что-то сосущее, какой-то сердечный трепет, колотье и пот в перстах, словом, присутствовало некоторое “весеннее возмездие” (эротический термин), когда речь заходила о способах расчетов с посредниками.

А посредниками в этом деле были все, кроме армян, и русские националисты, и мы с Бегемотом, и все хотели ухватить кусок, по возможности более могучий, раз уж возникла тема: “Ниссан-Патруль”.

Как раз тогда-то и появилось это мерзкое слово — “тема”. Например, “тема: “Ниссан-Патруль” или “тема: березовые обрубки”.

“Мы финнам — березовые обрубки, а они нам...” — и так до бесконечности. И теперь, когда я слышу слово “тема”, я начинаю давиться, хохотать, вскрикиваю только: “Березовые обрубки! Березовые обруб-

ки!.." — и опять не могу остановиться, всхлипываю и плачу, к примеру животом. Потом тщательно вытираю нос, лоб и красные щеки и жду, когда внутри улягутся все, знаете ли, звуки, после чего тщательно высмаркиваюсь.

Да-а! Россия...

Но вернемся к армянам, которые все еще ждут свои "Ниссан-Патрули"!

— Ар-мя-не! — хочется сказать им.

— Ар-мя-не! — хочется им заметить, — Ар...мя...не...

— Ве... да... че... эээ...

— последние несколько слов,

а вернее букв,

символизируют армянское недоумение,

проще говоря, оторопь,

которая приключилась с ними после общения с русскими националистами,

позорными червями в печальном далеко.

Те говорили:

— Покажите деньги.

А эти им:

— Покажите «Ниссан».

Оказалось, ни у кого ничего нет: предусмотрительный дядя Боря прислал армян на разведку, чтоб их сразу не обобрали.

Армян звали: Кимо, Самвел и Араик.

Араик был самый молодой, Кимо в первый раз в жизни одел пальто, а Самвел всеми своими повадками напоминал животное.

И смотрел он на место, откуда, по его разумению, должен был появиться "Ниссан-Патруль", так, как толь-

ко китаец смотрит на яшмовые ворота, прежде чем сунуть туда свой нефритовый стебель.

А вокруг он — китаец, разумеется, — уже разложил следующие обязательные предметы большой любви:

свисток неистребимого желания

крючок страсти

колпачок возбуждения

зажим нежности

бородавку утомления

серное кольцо Вечной Похоти

татарский любовный колокольчик и фамильный мастурбатор.

И уже изготовился.

Сейчас приступит.

С трудом войдет в “беседку удовольствий”.

А пока только предварительно разглядывает.

И от напряжения при разглядывании даже слезы на глаза выступили.

Все последующее (методологически) напоминает мне некоторые садомазохистические картинки. И будто в них участвую я: голышом одеваю роликовые коньки, и стройная женщина в черных крагах возит меня кругами по концертному залу, крепко держась за мой тоненький пенис.

Во всяком случае только я начинаю вспоминать, чем же там у нас закончилось дело с этими “Ниссан-Патрулями”, как тут же эти видения вытесняют из моего сознания все остальные воспоминания.

Помню только, что потом мы дружно встали на защиту армян, за что и заслужили их любовь и получили возможность немного погоды впихивать им остальные идеи.

На прощанье они пожимали нам руки, обнимали и говорили:

— Приезжайте к нам в Ереван.

А моя жена, воспользовавшись случаем, бросилась в комнату, нашла, прибежала назад и вручила им мои новые туфли, которые она в свое время приобрела по случаю в Ереване на улице Комитаса в маленьком магазинчике, и которые нужно было там же срочно обменять, потому что один туфель оказался на полтора размера короче другого.

И эти армяне уехали от нас навсегда, сжимая от счастья в руках вместо “Ниссана” мои дефективные башмаки.

Правда, мы потом много раз перезванивались, поскольку Араику нужны были игровые автоматы — “однорукие бандиты”, и он звонил нам, а мы ему, с трудом добираясь до этого непрерывно отползающего в те времена от России Еревана, с которым то нет связи, то на том конце никто по-русски не понимает (“Подождите, я Гамлета позову, он по-русски понимает, а я говорю, но не понимаю”). Наконец нашли мы ему эти автоматы, но нужно было в последний раз уточнить: такие-то они или сякие-то, и я еще раз дозвонился:

— Але, але, это Ереван? Позовите Араика. Араик? Это Араик?

— Нет, нет, это не Араик, это его жена. Араик в лифте застрял.

И тут я сошел с ума, потому что долго дозванивался, потому что когда еще до них доберешься:

— Побегите к нему, — говорю я ей, — уточните, такие-то ему нужны автоматы “однорукие бандиты” или сякие-то?

И она побежала — слышно, что по дороге что-то упало, — и долго там выясняла у Араика, сидящего в лифте, какие ему нужны автоматы, а потом прибежала и переврала все до неузнаваемости, потому что очень волновалась и все по дороге забыла.

Мама моя!

Как меня успокаивает, если я, после всяких таких вот событий, открываю автора, настоящего певца печали, на любой странице и читаю:

“...чувство! Лежит в основе. Это точка опоры. Она не сводится к понятию, исключая то краткое (можно сказать) мгновение, когда чувство выносит приговор Вселенной. Затем чувство либо умирает, либо сохраняется...” — и все, захлопываю.

Настоящих авторов, лохань их побери, никогда не следует читать вдоволь (чуть не сказал — вдоль), тогда это успокаивает и помогает сохранять равновесие.

Хотя иногда руки опускаются

И у Бегемота тоже.

Видели бы вы, как они у него опускаются: он — крупный, белый, а они медленно так поползли, поползли и достигли пола.

— О, хрустнувшая хризантема моей души! — говорю я ему в такие минуты. — Знаешь ли ты, что величаво-спокойное, проще говоря, лирично-эпическое повествование более подходит твоему невыразимому отчаянию. Кстати, в такие минуты я почему-то представляю тебя старым, толстым и на одной ноге.

Вторая у тебя смачно оторвана на службе короля Георга. Но ты опираешься на плечи молодых своих собратьев и орешь им: “Сарданапалы! Мухины дети! Все очком будете у меня воду пить! И им же верблужьи колючки носить с места на место!” — а потом ты успокаиваешься и рассказываешь им о пулях-штормах-парусах и о том, как ты водил по морям отечественные тральщики, и на глазах у них блестят романтические слезы, каждая величиной с австралийскую виноградину.

И сейчас же руки у Бегемота возвращаются на прежнее место.

И в глазах появляется блеск, который я считаю совершенно нормальным для современного военнослужащего: будто вскрыли старинный сундук, а там — “Пиастры! Пиастры!”

Это ли не повод вспомнить о душе?

Душе военного, я разумею.

То-то весело было бы для какого-нибудь исследователя ее отыскать, обнаружив при этом незначительные ее размеры в сочетании с несомненными ее качествами — наивностью, невинностью, светлостью.

Душа военнослужащего — это то, что растет у него всю жизнь.

И в конце жизни значительную часть ее составляет честь и совесть или то, что он вкладывает в эти понятия.

Исключение составляют генералы, которые всю жизнь существовали при чем-нибудь вкусеньком.

Им в душе отказано.

Бирюза

— О, озарение святое, снизойди!— молили певцы и поэты древней Месопотамии, и озаренье снизошло— все они остались без штанов, потому что озарение— один из способов освещения мрака: всем в одночасье становится ясно, куда идти, но при этом все чего-то лишаются— одни невинности, другие— благов и благости.

И на нас с Бегемотом снизошло озарение. (Я, кстати, тут же поинтересовался относительно штанов.)

Оно снизошло утром в пятницу, и душу сразу так затомило-затомило, потому что мысль озаряющая пока еще не до конца состоялась и какое-то время существовала в виде бледновато-клочковатом, но потом сразу раз!— и мы поняли, что не можем жить без бирюзы.

— Бирюза!— вскричал Бегемот. — Бирюза!

Говорил ли я тебе, Саня, — обратился он ко мне тут же, от возбуждения сжимая до боли мой случайно оказавшийся рядом с ним большой палец правой руки, — что теперь мы будем заниматься исключительно бирюзой— этим благороднейшим из камней, измеряемых в каратах. Знаешь ли ты, что у меня есть технология производства бирюзы в несметных количествах? И мы прежде всего, конечно же, снабдим всю Армению этим богатством. У нас все армяне будут ходить с бирюзой. Они спать будут с бирюзой. Они жрать будут с бирюзой. Я бы даже на улицу запретил бы им выходить без бирюзы. Помчались!

Опять помчались!

Вы не знаете, почему русские люди всегда куда-то бегут, мчатся, распуская по воздуху слюни?

И почему русскому человеку можно пообещать что-нибудь, но не сделать, а потом пообещать ему еще что-то, еще более значительное, чтоб у него глаза на лоб полезли, и он опять поверит?

И опять побежит.

Почему в России нельзя спокойно сесть и положить в рот кусок варенной на пару лососины в белом соусе и, обратившись в глубины своего существа, наблюдать за тем, как она непринужденно растворяется, уверенно теряет свои первоначальные очертания и в ней образуются плешины, промоины, легко ощущаются волоконца; и во взоре твоём благодарном от всей этой ерунды сейчас же появится масло, и то глубинное успокоение, какое свойственно разве что только кустам бузины после дождя?

Почему у нас всегда так: только отправил кусок за щекку, как рядом обязательно оказывается некий запаршивевший от невзгод козел, доверху напичканный радиомусором, который говорит безо всякого умолку о налогах, бюджете, думе, парламентаризме, перемежая все это — “вам, конечно, будет небезынтересно” и “но мы-то с вами понимаем”.

Как хочется выловить в тарелке дробиночку перца и, придвинувшись к нему вплотную, — “простите!” — щелчком направить ему ее в глаз, лучше в правый, и с удовольствием необычайным по своей полноте наблюдать, как он задохнется от слез, заплывет, закашляется, а

лучше забить ему в грызло обмылок или этот, как его, который разбухает, как груша, и заполняет, надеюсь, все помещение, как кляп какой-нибудь, и будет еще не раз то разбухать, то опадать, то разбухать, то опадать, пока не изольется душной Амазонией.

Я думаю, что это все из-за пассионарности.

То есть, я хочу сказать, из-за склонности этой страны к пассионарности.

Периодически встречаются тут несколько мудаков-пассионариев, и весь этот бардак начинается заново.

Все это — как шляпа по кочкам — пронеслось в моей голове, пока мы с Бегемотом бежали за бирюзой, и если с высоты птичьего полета посмотреть на то, как мы бежали, то многое, наверное, на этом свете нам должно проститься: столько в этом беге было наивной веры и надежды, а также — волглости, смачности, сочности.

И у Бегемота работали на лице все его мускулы, а взор его глаз — бесстыже чистых — был обращен чуть вверх, словно он наблюдает сошедшую с небес лепоту или зарю на вершинах деревьев.

Порой он прищелкивал языком, как вампир, порой улыбался, как дервиш, который уже видит танцующих гурий, а то вдруг останавливался и начинал говорить:

— Бирюза, — говорил он, — это соединение меди голубоватого и зеленоватого цвета, и ее можно варить из медного купороса или лучше всего из сливных вод, которые образуются как продукт различных производств. Подумай только, мы еще очистим город от тяжелых металлов! А потом все выпаривается и прессуется, а затем шлифуется. У меня есть

такие шлифовальщики, которые даже из каловых камней сделают ожерелье!

И я смотрел на Бегемота, и уже видел на нем ожерелье из каловых камней, и вспоминал цитаты.

Я, знаете ли, неожиданно могу вспомнить цитаты. Например: “Во время полового акта она имела обыкновение смеяться так бурно, что выталкивала член из влагалища”.

Или:

“Они жили долго и кончали преимущественно в один день”.

Или:

“Вместо рта взяла в глаз — еле выморгалась!”

Я не знаю, из каких они произведений, но считаю, что их нужно запретить.

Из соображений выспренной нравственности.

Именно выспренной!

Потому что у нас нравственность особого рода.

И поэтому ее нужно охранять.

А если ее оставить без присмотра, то она скоро полностью переродится в блуд и паскудство.

И когда я смотрю на Бегемота, мне все время приходит в голову мысль об охране нравственности.

И еще, куриные челюсти, в некоторые периоды своей жизни лицо Бегемота, срамота щенячья, вызывало в моей памяти лицо коменданта того славного военного городка, с которого и началась моя необыкновенная карьера. Что-то в них было общее, какая-то помесь ответственности с вихрем непредсказуемости.

Фамилия коменданта была Извергов

Кстати, не помню ни одного коменданта с фамилией Цветиков, Розанов, Хризантемов. Обязательно — Извергов, Самохвалов, Спиногрызов.

Я впервые увидел его при заступлении в патруль.

Он нас инструктировал.

Там было на что посмотреть: у него, прежде всего, надувалась шея, как у лягушки-быка перед вступлением в половые отношения, и голос, низкий, хриплый, казалось, легко извлекался из области вспомогательного таза.

Телом мал.

Лицом красен.

Взором отважен.

И в движениях быстр, как краб на отмели.

Он говорил:

— Квадрат "Е"-eee! — и никто не посмел бы заявить, что он не знаком с этим квадратом.

И еще он говорил:

— Именно тут ожидаю появления множества самовольно шатающихся воинов-строителей. Они должны быть здесь! В камере! И если они не будут сидеть, то сидеть будете вы! — и никто не посмел возразить.

Он говорил:

— Гэ-о-мет-рия! Укладывать гробики! — и это означало, что снег с дороги следует располагать вдоль обочины аккуратными параллелепипедами, проще говоря, гробиками, по всем законам геометрии.

Вот так, расчудроны чудаковатые, а вы думали, армия у нас пальцами где попало ковыряет?

Нет!

Армия у нас снег вдоль дороги укладывает и старается при этом, чтоб снег был белый, а не грязный, то есть, затемненные места следует еще сверху свеженьким снежком припорошить.

Да-ааа... жизнь...

Как-то комендант стоял в Дофе и ждал, когда ему позвонят — там у дежурного по Дофу есть телефон — и сообщат, что послали бульдозер, для того чтобы убрать с центральной площади гигантскую кучу колотого льда, которую соорудил в середине предыдущий бульдозер.

Коменданту должны были позвонить с минуты на минуту, и он ужасно нервничал, дергался всеми своими чувствительными членами одновременно и поминутно обращался к дороге, а если звонил телефон у дежурной, успевал подскочить, до нее ухватиться за трубку и гаркнуть в нее:

— Ка-мен-дан-т!!!

— Ой! — говорили там. — Извините...

— Гм... — говорил он, — трубку бросают... — а там просто хотели у дежурной поинтересоваться, какой фильм в Дофе идет, и только трубка оказывается на месте, как снова раздавался звонок:

— Ка-мен-дант!!!

И опять:

— Ой! Извините...

Так повторялось множество раз, пока он наконец не увидел, что где-то с горы к площади движется бульдозер, и он не выдержал и, пульсируя на ходу, побежал, скользя, спотыкаясь, навстречу этому бульдозеру, размахивая руками и горланя по дороге какую-то песнь гориллы-самца.

А бульдозерист, заметив издалека, что на него бежит одичавший от переживаний комендант, от страха бросил бульдозер и удрал, утопая по пояс, в снежные сопки.

И теперь бульдозер сам шел на площадь, и когда комендант добежал до него и обнаружил, что внутри никого нет, он принялся прыгать вокруг и орать уже бульдозеру:

— Стой, еб-т! Стой, блядь! Как же здесь нажимается, а? Эй! Кто-нибудь!

Но никого не потребовалось.

Тот бульдозер остановился только тогда, когда уперся в эту гору льда, сделанную предыдущим бульдозером.

Там он и заглох, железное чудовище.

А еще мы видели коменданта на парадах и на строевых прогулках.

Весна, воскресенье, солнце, теплынь — а у нас строевая прогулка.

Мы идем строями — экипаж за экипажем — в поселок, чтоб там походить кругами по дорожкам, создавая своим строевым шагом строевую красоту, а впереди нашего строя на машине с тремя мегафонами наверху едет комендант.

Он таким образом очищает перед нами путь.

А очищать не от кого, поскольку утром в поселке еще никого нет — никто не проснулся, улицы пусты.

И для кого мы тут ходим, непонятно, а дорога идет под горочку — справа кювет, слева — откос, и тут из-за дома вылетает на трехколесном велосипеде крошечный мальчуган и, отчаянно крутя педали, пристраивается перед машиной коменданта, и теперь все мы, и

машина коменданта в том числе, приобретаем скорость движения этого крохотного велосипедика.

Какое-то время так и движемся, а потом комендант начинает очищать нам дорогу:

— Мальчик!— говорит он сразу в три мегафона так, что просыпаются горы. — Ма-ль-чик! Принять в сторону!

А парнишка уже понял, что он сделал что-то не так, и отчаянно крутит педали, но от страха не может свернуть в сторону и по-прежнему едет впереди нашей процессии.

— Мальчик!— не выдерживает комендант. — Мальчик! Ма-ль-чик, еб твою мать!

И тогда мальчишка резко выворачивает руль и летит под откос — мальчик-велосипед-мальчик-велосипед, — пока не достигает дна канавы, после чего ничто уже не мешает красоте нашего строевого движения.

Ах!..

А 23 февраля мы с утра до вечера тоже что-нибудь делали

Только в середине дня нас отпустили домой часа на три яйца погладить, а потом опять, переодевшись в парадную тужурку с медалями, следовало прибыть в Доф и, отметившись на входе у старпома, пройти в зал на торжественное собрание, а ускользнуть невозможно — все дырки заделаны (я сам все проверил), даже окно в туалете закрыто решеткой, и после этой проверки, ослепительно стройные, уже не торопясь, направляемся на торжественное собрание.

Умные пришли в Доф без шинелей: они разделись у друзей, живущих рядом, и шли метров двадцать—тридцать без шапок среди пурги.

Глупые пришли в шинелях и разделись в гардеробе.

И вот когда кончилось торжественное собрание...

— Объявляется перерыв!

И все как-то быстренько заторопились к выходу.

— А после перерыва всем опять собраться в зале на концерт художественной самодеятельности!

И все заторопились сильнее.

— Уйдут, — выдыхает капитан первого ранга, распорядитель торжеств, — нужно закрыть гардероб. Скажите там, чтоб закрыли гардероб! — Движение масс еще более усиливается. — Шинели! Шинели не выдавать!

Люди побежали, по дороге кто-то упал.

Дверь в гардеробе разбили сразу же, но всех она все равно не вместила, поэтому рядом сломали фанерную стенку и оттуда стали просто выбрасывать шинели наружу, на пол, там по ним ходили, потом поднимали и по обнаруженным в кармане пропускам устанавливали “кто-чья”.

— Закройте входную дверь! То-ва-ри-щи офицеры!

— Комендант! Вызовите коменданта!

И приехал комендант! “Всех в тюрьму!!!” — орал он перед дверью гардероба.

Конечно! Я в эти мгновенья был внутри.

Я не хотел надевать чужую шинель.

Я хотел найти свою, и, когда в гардероб ворвался комендант, я всего только успел завернуться в ближайшую шинель, висящую на вешалке, и остался стоять, а

рядом со мной Гудоня — маленький, щуплый лейтенант — тоже завернулся, но от страха он еще и подпрыгнул, поджав ноги.

Он висел ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы вешалка на шинели оторвалась, и тогда он упал, и на него еще сверху легло шинелей пять-шесть.

Шум привлёк коменданта, он пробежал мимо меня, бросился, разрыл, достал и потом уже вышел, держа в одной руке потерявшего человеческое обличье Гудоню.

“Не помня вашу сексуальную ориентацию, — как говорил наш старпом, — на всякий случай целую вас в клитор!”

И еще он говорил:

“Как я тронута вашим вниманием,
и особенно выниманием”.

И еще он любил стихи:

“Буря мглою небо кроет,
Груды белые крутя”.

Нет, ребятки!

Лучше все-таки бежать за бирюзой.

Бежать, бежать, и видеть перед собой широчайшую спину бедняги Бегемота, и думать о том, какой ты все-таки дурак, что бежишь неизвестно куда.

И это хорошо, потому что ты сам дурак, самостоятельно, без каких бы то ни было побочных дураков.

И это прекрасно.

Я даже своего тестя — золотые его руки — решил приспособить к производству бирюзы, для чего из Киева, под видом пресса, нам прислали два противотанковых домкрата, и мы, напрягая себе шеи, сломав по дороге телегу, даже дотащили до него — золотые его

руки — эти совершенно неподъемные железяки, которые впоследствии так никогда и не превратились в пресс — золотая его мать, — потому что не хватало еще кучи всяческих деталей.

Бог с ним, штамповали на стороне.

А бирюзу нам варил Витя

Витя был гений.

И как всякий натуральный гений он мыслил вслух.

Это был фейерверк.

Это был какой-то ослепительный кошмар.

Он все время говорил.

Он звенел, как мелочь в оцинкованном ведре, и мы легко тонули в обилии свободных радикалов.

Витя мог все.

С помощью индикаторных трубок на что угодно.

Я помню только индикаторные трубки на окись углерода и озон, на аммиак и ацетон, на углеводы и раннюю идиотию — трубку следовало вложить в рот раннему идиоту и через какое-то время вынуть с уже готовым анализом.

Трубок было до чертовой пропасти.

Кроме того, Витя мог заразить весь воздух, всю воду, всю землю и еще три метра под землей трудно различимыми ядами.

Во времена Клеопатры он наслал бы мор на легионы Антония.

Во времена династии Цин — отравил бы всех монголов.

Сама мама Медичи плакала и просила бы его дать ей яда для ее сына Карла.

Витю надо было только зарядить на идею, и дальше он уже мчался вперед самостоятельно, с невообразимой скоростью изобретая трубки, приборы, способы, методы.

Он все варил голыми руками.

После него можно было годами биться над воспроизведением его методик, и на выходе получалась бы только желтая глина, а у него получались рубины, сапфиры, топазы, потому что он все делал по схеме “один пишем — два в уме”.

Он приходил в неистовство, если его не понимали, а поскольку его не понимали сразу, то в неистовство он приходил тут же.

Он спрашивал и сам себе отвечал, повышал на себя голос и выстраивал логические цепи, он не верил и домогался, готовил ловушки и сам в них попадал.

Говорить с ним мог только Бегемот.

Без Бегемота непременно терялась нить разговора.

Витя сварил нам много бирюзы.

“Ах, эти невыносимые потуги, напряжения, колотье в груди.

Все ли усилия наши возвратятся

К нам голубками, перышками легкими, майскими ситцами?” — сказал бы настоящий поэт, холера его побери.

И не только холера.

Пусть у него загнойтся глаза, тело покроется струпиями и чумными бубонами.

Бирюза...

Мы продавали ее на всех углах.

Мы ходили с ней по городу, и эти драгоценные ядрышки екали у нас в карманах, как каменные яйца или как селезенка у водовозных лошадей.

Мы входили в офисы, расположенные в техникумах и хлебопекарнях.

Мы входили через мужской туалет и попадали в двери, и, как пещера Аладдина, взорам нашим открывалась шикарная жизнь: там на кожаных диванах продавали за рубеж нефть, газ, лес и ввозили в страну йогурт.

Они хотели возить только йогурт.

Они не хотели бирюзы.

А мы им всовывали, втюхивали, втирали в очки технологию производства бирюзы и индикаторные трубки на раннюю идиотию, а они делали большие глаза, они вообще не понимали, откуда мы взялись, они делали руками движение — “чур меня, чур”, будто отгоняли кого-либо или стирали в памяти.

Они не понимали ни черта, потому что в голове у них — как и у всех торгующих газом и нефтью — был только вентиль: открыли — потекло.

Мы даже Ежкину предложили бирюзу

С Ежкиным мы еще с лейтенантов служили среди сутробов.

А теперь он продавал заношенное белье на вес и существовал среди кислых запахов.

— Еж-ки-н, скотина ты эдакая, — говорил я ему ласково, — почему ты не хочешь купить у нас бирюзу?

А Ежкин смотрел на нас пристально и медленно соображал, потому что в прошлом он к тому же был охотник и быстро и опрометчиво он только стрелял и бегал, а думал и говорил он медленно.

Помню Ежкина еще в младенчестве, когда он впервые надел лыжи и взял в руки охотничье ружье как инструмент убийства (дробь в обоих стволах).

И вот Ежкин идет по хрустальному, заснеженному лесу — вокруг застывшая несравненная красота — и доходит до глубокого оврага, а на той стороне в кустах что-то возится.

Он взял и стрельнул в эти кусты (дробь в обоих стволах), а оттуда вылетела кабаниха, мать вепря, мотая головой. Она была размерами с шерстистого носорога.

Она как увидела Ежкина на той стороне оврага, так прямо без подготовки прыгнула к нему в объятия, распластавшись над пропастью.

И Ежкин, от испуга, вместе с лыжами взмыл в воздух и, стремительно собирая по дороге в рот иголки, оказался на самой верхушке гигантской ели.

Кабаниха вырыла под елкой глубокий и убедительный окоп.

Иногда она вскидывала морду к звездам и смотрела — не свалится ли к ней в этот уютный окопчик маленький вкусенький Ежкин?

Она продержала его на дереве всю ночь.

Дерево гнулось и скрипело.

Ежкин висел, раскачиваясь на самой верхушке, черный, как спелый банан, и пел что-то народное, чтоб согреться.

Следует заметить, что Ежкин у нас потомственный охотник на кабана.

Еще его папа, тоже, кстати, Ежкин, не говоря уже о дедушке, охотился на этого чуткого зверя.

Как-то они — его папа с другом — оказались с дипломатической миссией в Германии, и там их пригласили на кабана.

Выпили они по полведра каждый, и их посадили в разные люльки над тропой.

Одного посадили в начале тропы, другого — в конце.

И друг папы Ежкина от пьянства дико пал — вывалился из люльки прямо на тропу, по которой уже пошел зверь.

И на четвереньках — встать он таки не смог — он полз, подгоняемый кабанами и кричал: “Я не кабан! Я не кабан!”

Кричал он, видимо, папе Ежкина, к которому и направлялось все стадо.

Столь глубинное потрясение — а он орал: “Я не кабан” даже в машине — не прошло для него бесследно. Уволившись в запас, он сделался яростным защитником всего живого.

Пока я вам все это рассказывал, Ежкин думал о бирюзе.

Думал, думал, искажая свою внешность, а потом он мне сказал решительно, что, мол, бросай, Саня, свою бирюзу, чугун с ней, и переходи к нам. У нас так хорошо. Мы продаем вещи людям, то есть помогаем им выжить в это непростое время.

И я смотрел на Ежкина, на его раскрасневшееся от благородства лицо, и жалость пронзала мне печень.

Мне вдруг захотелось взять его на руки и обнять, и сказать ему ласково: “Еж-ки-н, ско-ти-на т-ы э-та-ка-я!!!” — а потом, так же внезапно, так же вдруг, видимо, из-за разлитой в воздухе лежалой кислоты, мне захотелось немедленно набедокурить у них в углу на диване влажной кучей, причитая при этом скрипуче: “У Ежки-на родились дети, и странно, но все они были Ежкины-ми, и у этих детей тоже родились дети — Ежкины до бесконечности...”

После чего хочется искусства

Вот хочется, и все тут.

А искусство — оно же не на виду.

Скрыто оно же.

Не всем показывается.

Вот, например:

“Где твой язык молодым тюленем едва одолевает бобэоби

Моих губ, чтобы тут же схлынуть к самолюбивой соленой утробе...”

А вот еще:

“И вот ты тянешь меня за уздечку, да и сам я уже вострю

Нежные лыжи охотничьи, чтобы без шума подобраться к твоему снегирю...”

И потом:

“Чтобы выдернуть из его зоба золотой шнурок с бусинкой победы...”

Да... не всем дано понять, потому, чтоб понять, как

говорил наш старпом: “Нужна рость, любовная кость!” — и еще он говорил, упражняя свой ум: “положил-зало-жил-доложил”, и “утлежопые”, а вместо “хуже” говорил “хуйже”, например так: “будет хуй-же”.

Эх, где они теперь, мои старпомы-командиры-автомки?

Разве что в неисхоженных уголках моей памяти или в кошмарных сновидениях.

Да-а...

А бирюзу мы все же продали

Одному заезжему индийскому факиру, настоящему гуру, который колесил по свету и показывал чудеса материализации.

И когда по нашей методике из ничего у него получался камень — все рты открывали.

А потом мы поднапряглись и продали ее еще раз этим дурням из Москвы.

Они, правда, не знали, куда ее приложить, эту нашу методику, к какому месту, чтоб получилась бирюза, потому что в отличие от индийского гуру не были снабжены истинным знанием и космическим зрением, но они решили — пусть у них это будет на всякий случай.

— Ах! — мечтали мы с Бегемотом, пожирая добычу, — нам бы побольше таких замечательных психиатрических объектов, которым, кроме бирюзы, можно продать секреты, например, русского булата или венецианского стекла, красной ртути или египетской бронзы.

Вот мы зажили бы тогда! Мы открывали бы по одному секрету в день, что составило бы 245 секретов в год, не считая суббот и праздников.

Мы открыли бы все секреты в этой стране, а потом перебрались бы в другие места. Меня, к примеру, давно волнует узелковое письмо майя.

Спермные! (То есть я хотел сказать “смертные”.) Мы бы вам помогли.

Конечно, мы предложили бирюзу и армянам, потому что если с помощью индийского гурӯ мы распространили ее среди дикарей, поклонявшихся портретам своих умерших родственников, то среди армян — сам бог велел.

Но в отношении бирюзы у нас с армянами любви не получилось, потому что оплату они хотели производить гранитом и розовым туфом.

Мы решили, что нам не нужен гранит.

И розовый туф.

И вольфрам нам не нужен.

И молибден.

А у них этого барахла — навалом: все горы изрыты.

Изрыты и спущены в реки.

Исгажено-продано-пропито.

Сохранена только национальная неприкосновенность.

Вот где наблюдается чистота и этническое целомудрие! (Может быть, я только что сказал масло масляное, но если дело касается армян, то это ничего, это как раз хорошо, потому что с первого раза до них, как правило, не доходит.)

И потом, какая экспрессия!

Имбирь, натуральный имбирь, в виде запаха, начи-

нает метаться по воздуху, когда несколько армян спорят о направлениях собственного развития.

Бегемот это слушать не может.

Отказывается.

И все после того, как он безуспешно пытался им навязать мини-гидроэлектростанции, а также ветряные электростанции, и они сначала спорили друг с другом до появления стойкого запаха имбиря, а потом, видимо, сговорившись, обратились к Бегемоту:

— А можно мы это оплатим гранитом?

— Нет! — вскричал Бегемот. — Только не гранитом! Я это уже слышал! Гранит уже был! Ты хочешь гранит? — обратился он ко мне, и я замотал головой.

— И я не хочу гранит! И розовый туф не хочу! А также я не хочу асфальт, кокс, выделения из электролита, соединения меди и алюминия, цементную пыль и буковые поленья! Все! Хватит! Вместо электричества будете дрова жечь!

И пошли они жечь дрова.

Хотя было еще потом несколько звонков, но с ними говорил я, Бегемот уже не мог говорить — у него в желудке перегорали котлеты.

Армяне звонили и предлагали поставлять компоты в трехлитровых банках, вагонами, а банки нужно было прислать им назад в тех же вагонах. И все это через три границы, где со всех сторон шла война.

— А сена у них нет? — спросил обессилевший Бегемот.

И сено у них было: в виде чабреца,

тмина,

душицы,

мальвы однолетней,

мяты,
дикого чеснока,
лука,
борщевика,
кизила,
барбариса,
грецкого ореха,
фундука и черти чего еще.
Все горы усеяны.
Тоннами можно производить.
Сотнями, тысячами тонн, десятками тысяч.
Господи!

Как бы мы зажили, если бы не обессилел Бегемот, который теперь, когда ему говорили про армян, вспоминал только гранит, один только гранит, реже розовый туф.

Мы бы торговали травами!

И все же, я думаю, окончательно его доконала идея производства персикового масла: собираются, спешите видеть, персики, из них выделяется косточка, сушится, отделяется скорлупа, которая потом идет на обрамление столешниц, семечко давится, масло — в бутылки, жмых — скоту.

Все!

Бегемот кончился, когда он нашел людей, технологию, механизмы, сертификаты, министерство пищи и труда, собрал, запустил, испытал, а они ему заявили, что расплатятся вазелином, застрявшим на армейских складах.

Все!

Кончился.

Я стоял над разлагавшимся трупом Бегемота, который медленно, как уставший паровоз, исходил белыми газами.

Потом он, правда, пришел в себя, но слушать об армянах уже больше не захотел.

И вообще у него слух испортился.

И вот тогда — для восстановления потухшего слуха Бегемота — я пел ему, читал стихи, декламировал творения политических авторов, ерничал, словоблудствовал и вообще вел себя как полный кретин: сочинял, например, детские стишки:

Утром распухло яйцо динозавра
Самца...

и так далее.

Наконец я был прощен, потому что персиковые косточки — это была моя идея.

И армяне тоже.

Им позволено было жить и размножаться.

И они были оставлены в своих горах с гранитом, вазелином, чабрецом и кизилом

в полном счастье.

Кончилась наша армянская эпопея, зато все остальное, по-моему, только началось.

Электрошок

Как вы относитесь к электрошоку?

Скорее всего, никак.

И подобное устойчивое легкомыслие будет наблюдаться до тех пор, пока вы с ним не столкнетесь.

Будет так: вы стоите в этой стране на асфальте, ни о чем не подозревая, и тут вам неожиданно встречаются пятьсот вольт, и вы их наверняка поприветствуете, поднимите, скажем, ножку, с видимым усилием, отведете ее в сторону, откроете пошире глазки, ртом захотите сказать: “Ах!” — да так и замрете, думая о себе, как о постороннем, который стоит (если стоит), держась глазами за забор, и валит в штаны.

Бегемот навалил в штаны, когда случайно эта штука у него в кармане сработала.

Амикошонство с подобными вещами, я считаю, не проходит бесследно — это мое личное наблюдение.

До этого Бегемот прикладывал это выдающееся изобретение ко всяким встречным пьяницам и бродячим собакам, радостно наблюдая у них хорошо отрепетированный паралич, и тут, закончив, как он изволил выразиться, “ходовые испытания”, он сунул ее в брючный карман и совершенно машинально нажал куда следует, и тут же обосрался, и буквально, и фигурально.

Вообще-то военнослужащий, должен вас предупредить, многое делает машинально, особенно нажимает на курок.

Никакого разумного объяснения этому явлению нет.

В лучшем случае говорят: “Парность случая” — то есть если нажал один раз, то, что бы ни случилось, нажмешь еще.

Я сам однажды нажал, когда мне показывали газовый пистолет, дети брызнули в окна.

А у Бегемота поменялось лицо, чуть не сказал “на жопу”, то есть я хотел заметить, изменилось его выражение: вихреватое добродушие сменила сторожевая бдительность и общая полканистость.

Точно такое же выражение я видел только у жены маячника — смотрителя маяка,

когда ее вместе с подкидной доской сняла с поста-мента портовая грязнуха,

а доска называлась подкидной потому, что устанавливается в деревянном гальюне, стоящем на торце пирса, на полу,

в ней еще дыра прорубается,

и вот через эту дырищу волной-то тебя и может запросто поднять и даже подкинуть под потолок,

а волна получается из-за всяческих плавсредств, разнужданно проходящих по акватории порта, и поэтому, сидя над этой дырой,

следует внимательнейшим образом смотреть вперед и

в щелях между досками следить за этими гондонами — проходящими плавсредствами,

чтобы потом было время убежать из этого гальюна до подхода к нему

такой губительной цунами.

А случилось это в одном секретном портовом городишке —

назовем его пока Бреслау,

где жена маячника,

назовем ее Агриппиной,

подобным образом сидела

и наблюдала за акваторией,

и к ней, с наветренной стороны,
совершенно бесшумно,
подобралась портовая грязнуха,
которая своими длиннющими аппарелинами,
выставляющимися далеко вперед, как челюсти,
собирала с воды всякую дрянь
и которая не поднимала такой безумной волны, как
остальные суденышки,
по причине того, что без волнения легче мусор
собирать.

Капитан на грязнухе пребывал в сильнейшем
опьянении,

и поэтому она ходила по заливу абсолютно са-
мостоятельно

и все время находилась вне сектора наблюдения
маячницы Агриппины.

Так что в какой-то момент она просто сняла галюн
с постамента и стала возить его по заливу концентри-
ческими кругами.

Крыша галюна от вибрации сползла в воду, стены
сами развалились, и открылась миру жена маячника, с
тем же выражением лица — “Я — Полкан!”, — что и
у Бегемота.

Она боялась пошевелиться

и от страха смотрела только вперед,

и ее мраморная задница была далеко видна.

Со стороны казалось, что по заливу движется ладонь
великана, бережно держащая маленькую фарфоровую
статуэтку.

— Молодой человек, вам нехорошо? — спросили у
Бегемота на улице, и Бегемот сказал, что ему хорошо,

потому что неправильно себя оценивал после столь мощного извержения.

Потом он продал это чудное изобретение все тем же придуркам из Москвы.

Они тут же захотели испробовать.

— Работает? — радостно взблевав, спросили они у Бегемота.

— Работает, — скромно ответил Бегемот и, отведя глаза в сторону, мягко добавил: — На себе проверял.

— Ну и как?

— Впечатляет.

— А у нас самая впечатлительная — Маруся, — сказал генеральный директор этого анклава придурков, и не успел Бегемот сказать: “Ах!” — как он, предварительно пошлепав, то есть несколько все же разрядив прибор, приложил электрошок электрическими губками к чувствительным ягодицам стоящей рядом секретарши.

То, что сделала потом секретарша, описать нетрудно.

Интересно, где это в человеке помещается столько говна?

Не иначе как в каких-то кладовых.

А потом она села туда же — поскольку наложила она, прямо скажем, сквозь собственные трусы — на колени своему директору, и тот, в поднявшейся неразберихе, тоже оказался ужаленным все тем же инструментом, выпавшим из рук, после чего он потерял речь, зрение, обоняние, осязание,

слух,
и разум
и забыл нам оплатить вторую половину денег.
Мало того, за Бегемотом еще гнались полквартала, и
он бежал как ветер.

**Именно с этого момента во мне
проснулся интерес к литературе**

Точно, это было в пятницу: я вдруг подошел к книжному шкафу и, что никогда не делал, ласково погладил корешки (книг, конечно же).

После чего, само собой, меня уже неудержимо потянули к себе — с точки зрения композиционной, разумеется, — психологические опусы ранних и экзистенциальные сентенции поздних французов, и я немедленно увлекся соотношениями парадоксального, ортодоксального и исповедального в прозе, полюбил ненавязчивые парадигмы.

Теперь меня часто можно было наблюдать шляющимся с томиком Паскаля в руке, а также изучающим Авесты Ницше и Фрейда.

Я полюбил приставки и суффиксы,

аффиксы и префиксы,

и особенно корни — их в первую голову.

Все теперь для меня имело значение, и мир теперь являл собой особую ценность, потому что в нем были слова —

мягкие,

терпкие,

гладкие,
едкие,
колючие,
жгучие,
вкусные,
грустные.

Я даже посещал поэтические семинары.

Там по вечерам собирались поэты и в атмосфере хрупкости душевного устройства слагали вирши.

Следовало при этом их хвалить.

Потому что поэта можно легко убить, сказав, что у него не стихи, а говно.

Нужно было говорить так: "...образность прозрачных линий не всегда доминирует... эм... я бы сказал... вот..."

Семинары вел гений — сын ящерицы: на абсолютно лысом черепе глаза казались особенно выпуклыми, потому что помещались в бутоне из складок полувяленной кожи.

Когда я впервые увидел это сокровище отечественной изящной словесности, я почему-то подумал, что он должен ходить по душной комнате босиком с лукошком и разбрасывать по стенам гекконов, которых он из этого лукошка и достает.

Он разбрасывает — они прилипают.

Я там узнал много новых слов.

Я там узнал слово "сакрально".

Его следовало произносить с придыханием, томно расслабив члены.

Его нужно было вставлять где попало — оно всегда выглядело к месту.

Там же я познакомился с иностранцами.

И даже прослыл среди них чем-то вроде путеводителя.

Как-то девушка — прекрасная американка — сидела рядом со мной, и битый час мы разговаривали о филологии.

Она была неистощима.

Ее интересовали всякие новые слова, а также различные русские ортодоксальные течения в литературе, по поводу которых вначале я что-то мямлил, но потом, установив, что она впитывает всякий хлам, как малайская губка, разошелся и с непередаваемой легкостью вязал в нечто восьминое, и клириков, и лириков, и всяких, и прочих.

Мне нравились ее глаза — серо-голубые, как северные небеса.

Мне нравился ее нос — немножко вздернутый, ее губы, чуть припухлые, как у обиженного ребенка, ее локоны, мелкими льняными колечками разметавшиеся по плечам, розовой спине, попадавшие во впадину между лопатками, обещавшими сейчас же задышать летним зноем, запахнуть грушами, коснись только их слегка.

Мне нравились ее руки — крупные, белые.

Мне нравились ее ноги — крупные, белые.

Ступни, бедра, лодыжки.

Я чувствовал, что оживаю, что внутри струятся соки.

Почему-то захотелось сделаться маленьким и посидеть у нее на коленях, и чтоб она была моей мамой.

— Ххх-ууу-ий! — простонала она.

— Что? — не понял я.

— Я давно хотела спросить, — сказала она, — есть одно такое русское слово, его много говорят, его надо

сказать так, как будто ты выдыхаешь, вот так, — и она набрала воздух, — ХХХ-ууу-ийй!

Этим, знаете ли, все и кончилось, и я снова нашел Бегемота.

— Членистоногое! — сказал я ему, раскрывшему глаза широко. — Только член и ноги! Напустил девушке полную лохань своих головастика, а теперь не хочет жениться! — Видя, что напасть на него внезапно мне не удалось, я продолжил: — Помыл тело и за дело! Настроил инструмент и за документ! Вы, я вижу, все позабыли. Что вы на меня уставились, вяловатая тайландская кишечная палочка! Вы что себе вообразили, пиписька ушастого коршуна, если я на мгновенье занялся отечественной литературой, которая в этот момент неотступно погибала, значит, можно вообще все бросить и не думать ни о чем? Так что ли?! Где отчет по ядам для всей планеты? Где разработки единственного противоядия? Где плановая организация витаминного голода и защита от него? Что вы на меня так уставились, мороженный презерватив кашалота? Соберите свои мысли в пучок, мамины фаллопиевы трубы, просифоньте, просквозите, промычите, проблейте что-нибудь, не стойте как поэты, накашляйте, наконец, какой-нибудь рецепт всеобщей радости!

Вот!

Скажу вам откровенно: военнослужащий устроен так, что на него нужно орать.

Только тогда он ощущает себя человеком, способ-

ным к немедленному воспроизводству.

Лицо у тебя должно быть веселое в тот момент, когда ты порешишь всю эту чушь лимонную, а голос — о голосе особый разговор, к нему особое наше почтение — у тебя должен звучать бодро, смачно, самоутверждающе, потому что военнослужащий, как и всякий другой кобель, в основном помещен в голосе.

Ты ореши на него, и он, вначале испугавшись, вдруг с какого-то момента начинает замечать, что это ты шутишь так по-дурацки, и в это мгновение он понимает, что в общем-то ты к нему замечательно относишься, что ты его любишь, в конце-то концов, и он, если он к тому же твой подчиненный, начинает тоже тебя отчаянно любить.

Так устроен мир.

И не нам, военным, его менять.

И пусть даже Бегемот теперь в запасе.

Но рефлекс-то у него остались.

Тем и воспользуемся.

И вы, граждане, тоже пользуйтесь своими рефлексами, если они у вас остались.

Это помогает жить.

А все-таки жаль, что я не стал поэтом, таким, как Лев Николаевич Толстой, например (потому что он прежде всего поэт, я считаю; у него в прозе есть скрытые рифмы). Я бы тогда тоже писал дневники:

“План на завтра:

встать в четыре утра, наблюдать зарю,

скакать на коне,

не говорить чепухи,

дать Степану пятиалтынный.

Итоги за день:

встал пополудни,
полчаса давил прыщи,
потом нес какую-то околесицу, в результате чего:
дал Степану в морду”.

А потом эти дневники изучали бы пристально и писали б диссертации о степени реализации моего подлинного чувства.

Кстати, о морде

Я давно заприметил, что в схожих ситуациях у военнослужащих бывают очень похожие морды (я имею в виду лица).

Просто не отличить.

Я имею в виду их выражение: виноватая готовность к ежедневному самоотречению.

Правда, ситуация должна быть такая: их куда-то послали, но они туда не дошли по причине того, что дороги еще не проложены.

И у Бегемота бывает такое выражение, такая тоска собачья, и тогда-то я и пытаюсь его развеселить всякими глупостями, которые на самом-то деле, как уже говорилось, означают совсем не это, но военнослужащий понимает то, что другие понять не в состоянии: он вслушивается и ловит не смысл, а интонацию, которая говорит ему: не дрейфь, все хорошо, ничего страшного, прорвемся, ну же, смотри веселей, и не такое бывало, подумаешь, плевать, плюнул? Молодец!

И сейчас же выражение лица меняется.

Полет в нем появляется.

И свет, и блеск, и озорство дворовое.

И еще об озорстве

У Бегемота, как уже говорилось, не всегда присутствует озорство.

А у Коли Гривасова, который теперь торгует фальшивым жемчугом, всегда.

Вот смотрю я, бывало, на лицо Коли, появившегося на свет после обильных паводков в среднерусском недородье, и думаю: где ж ты получил свое озорство?

Если б перед Дарвином в определенный период его дарвинской биографии маячила не нафабренная и чопорная физиономия англичанина (эсквайра, я полагаю), а светящаяся здоровьем прыщеватая рожа Коли Гривасова, он бы не сделал гениальный вывод о том, что человек произошел от обезьяны, он сделал бы другой гениальный вывод о том, что человек произошел от коровы, и гораздо позже произошел.

Между прочим, я Коленьку из писсуара доставал.

В свое время природа, шлепая ладошками по первоначальной глине и возведя из нее личико Коли Гривасова, вовсю старалось придать ему хоть какое-то выражение; так старалось, что совершенно забыло об овале.

Овалом лицо Коленьки в точности повторяло овал писсуара.

В увольнении Колюша аккуратненько напивался.

Здесь под словом “аккуратненько” я понимаю такое состояние общекультурных ценностей, когда человек не проливает ни капли, после чего этот человек приходит в ротное помещение.

А я стою дневальным, и этот мерзавец Колюня, разумеется, появляется без пяти двенадцать, а я уже исчезался весь, мне же нужно о прибытии личного состава доложить.

— Ко-ле-нь-ка, — тянет эта сволочь, стоя на пороге, будучи в хлам, поскольку разговаривает он с самими собой, — почему же ты опять напиваешься? Зачем все это? К чему? В чем причина? Каковы обстоятельства? Как это можно объяснить? А объяснять придется! И прежде всего самому себе! Это вам не яйцами орешки колоть!

Потом он пошел к писсуарам, а я взялся за телефон, чтобы произвести доклад. И тут из писсуарной раздается крик полуденного пекари.

Я вбегаю, чтоб узреть следующие виды: Коля стоит перед писсуаром на коленях, а голова у него в нем глабоко внутри.

И орет, скользкая сиволапка, потому что застрял.

Видимо, за водичкой они полезли.

Испить задумали.

Вот тут-то овал и пригодился: по уши влез, и ушки назад не пустили.

Я его тяну, а он орет, конская золотуха.

Тогда я бросился и намылил ему уши хозяйственным мылом.

И пошла пена.

Я уже наклонился, чтобы понять — из Коли она поперла или все-таки от мыла?

От мыла, слава тебе Господи!

И тут меня как кипятком обдало: он же сейчас в пене захлебнется!

Клиторный бабай!

Корявка ишачья!

Вымя крокодила!

Что ж я наделал, он же сдохнет сейчас!

И я, в полном безумье, нахожу глазами, которые давно на затылке, что-нибудь жирное, например, крем для обуви и, подтянувшись к нему, не выпуская Колю, которого держу за шкирятник, начинаю мазать ему уши этой дрянью, а потом к-э-к дернул!

И Коля выдергивается с таким чавканьем, будто я его у африканского слона из черной жопы достал!

И мы с ним — я сверху, он под ногами — начинаем улыбаться, отводя свои дикие взоры от писсуара, и видим дежурного по училищу; он смотрит на нас, не отрываясь.

— Товарищу капитан первого ранга... — выдавливаю я, и дальше у меня воздух кончается, потому что замечаю, что он все-все понимает.

— Когда домоете последнего, — говорит он мне после некоторой паузы, восстанавливающей приличие в позах, — доложите о наличии личного состава.

— И-и-е...есть! — восклицаю я в полном счастье, после чего мне ничего не остается, как сунуть Колю назад в писсуар.

Ах, Коля, Коля...

Коля после увольнения в запас все делал с серьезнейшим неторопливейшим видом, и лицо, которое мы чуть выше вскользь описали, к тому же распола-

гало, благодаря чему и производил он впечатление ответственного человека, но потом вдруг — ах! Трах! И все превращалось в полную ерунду, потому что всплывало, всходило, выпучивалось глубинное природное озорство, и наутро он ничего не помнил, потому что, озорничая, не отложил в уме, потому что оплошал.

А все ему верили: “Как же! Такой человек, он нам обещал”.

А Коля не мог обещать, потому что слово это, с самого сарафанного детства, неправильно ощущал.

Это им казалось, что он им обещал, потому что ситуация и обстоятельства к такому выводу подводили.

Подводили, но не всех.

Колю, например, не подводили.

А под его “обещал” уже где-то договоры заключили и ездили место осматривать...

— Ребята, — говорил нам Коля. — Давайте вместе продавать фальшивый жемчуг.

А я смотрел на него, вспоминал, как я его из писссуара доставал, и мне вдруг становилось жалко Колю.

Ведь не подлый же он человек.

Ну не дал ему Бог ума, ну разве ж это преступление?

Вот отслужил он двадцать пять лет на подводных лодках и вышел оттуда целокупным идиотом, но ведь он и раньше был не Лукреций Кар?

Куда ж его теперь применить,
прилепить,
примандить,
пришмандорить,
прищепить,

прикупить,
прислуживать слегка.

А может, действительно, пусть продает свой паршивый жемчуг?

А?

Ведь покупают же его какие-то безумцы? Значит, нужен он, пусть даже с таким акропетическим овалом (не жемчуг, конечно).

Но нам с Бегемотом этого не надо.

Он нам не нужен.

Коля наш.

А Бегемот мне вообще сказал:

— Не тревожь кретина.

И я не стал его тревожить.

Эх, драгоценный мой читатель, знаешь ли ты, как после всех этих воспоминаний хочется жить, дышать, поглощать альвеолами космическую прану, как хочется размножаться, буреподобно семяизвергаясь из семяводов, или хочется вдруг сломя голову побежать с косогора и на берегу уже распахнуть руки и ощутить упругость этого вкусного мира.

Или хочется себе придумать эпитафию: "Он ушел, непрерывно оргазмируя!"

Или хочется написать письмо собственной жене, сидящей за пальцами в соседней комнате:

"Дорогая Дарья!

Сегодня на тебя будет совершенно сексуальное нападение!

Готова ли ты к нему?

Я вижу, что не готова, что недостаточно прочувство-

вала степень ответственности (точности, жачности, клячности).

Я тебе симпатизирую.

Я помогу тебе максимизировать степень отдачи.

Прежде всего настрой себя мысленно.

Будь строга в движениях и в дыханиях своих будь необычайно ритмична, чтобы, заводя разговоры о члене, все участники описываемых событий не говорили: «Мы теряем его».

Это важно.

Дарья.

Дорогая.

А потом так приятно приступить к процессу, все привлеченные к которому норовят все попробовать своими спелыми губами, уподобляясь молодым игуанодонам, чьи игры с юными веточками акаций всегда заканчивались поеданием последних, хотя сначала были и вздохи, и нежнейшее скрадывание, и топтание на месте.

А если дело касается груши, что то вянет, то снова наливается, то, как нам видится, самое подходящее для нее нахождение — это нахождение во рту у той, что более всех остальных нам дорога.

Незлюбивая моя, простишь ли ты мне эти строки?"

Я еще раз про себя перечитал это письмо, в некоторых местах снабдил его многоточием, после чего испытал чувство полноты.

Полнота как чувство, задумчивый мой читатель, это такое состояние душевных движений, когда нигде не жмет или же не выпирает, как если б, например, у вас порвался носок в ботинке, то есть состоялась в нем дырка,

через которую большой палец почувствовал близкую свободу, и никакой силы нет теперь с ним совладать, и при ходьбе теперь приходится все время о нем помнить.

Вот как я представляю себе чувство полноты.

Так что, возвращаясь к нему, как к чувству, должен вам заявить, что многие его, по всей видимости, лишены.

— Слушай! — сказал я Бегемоту, собираясь проверить это свое умозаключение. — Давно хотел тебя спросить: как у тебя с чувством полноты?

Тут я должен заметить, что не всегда у нас с Бегемотом сразу же наступает взаимопонимание, некоторое несовпадение мыслительных процессов все-таки налицо.

— Иди ты в жопу, — сказал мне Бегемот, и это не было случайностью. Это и было как раз тем самым несовпадением, о котором я только что говорил.

После этого меня, как правило, берет оторопь.

— Слушай ты, — говорю я Бегемоту, — гвоздик с каблука босоножки маминой мандавошки! Меня берет оторопь, а это значит, что я расстроен, лишен жизненных ориентиров. Как же я теперь буду распутывать клубок чувственных, а значит, и нравственных ассоциаций?

Между нами говоря, оторопь — это положение, в котором военнослужащий может пребывать годами. Из нее меня выводит только стишок:

Птичка какает на ветке,
Дядя ходит срать в оwin,
Чeсть имею вас поздравить
Со днем ваших именин!

Выйдя из оторопи, я немедленно набрасываюсь на Бегемота:

— И что это за направление, что за выражение такое — “иди в жопу”? Вот однажды жена известного, но душевно ломкого писателя послала своего мужа в жопу, и он пошел, а потом еще долго-долго из необъятной задницы жены писателя торчали тонкие ноги самого писателя. Его доставать, а он ни в какую.

Не лезет.

Не хочет.

А когда его наконец достали, он всем с горячностью рассказывал о необычайном чувстве тесноты и одновременно теплоты.

“Приют уединения”, — говорил он и называл жопу “розочкой-звездочкой”.

Спятил человек.

А полковник с кафедры общественных дисциплин? После пятидесяти лет совместной жизни пожелал уважения, пожелал, чтоб жена обращалась к нему на “вы” и “товарищ полковник”, а она его послала в жопу, он схватил ружье и выстрелил в потолок.

Увезли по “скорой” в психушку, где он скончался, не выходя из транса, все твердил: “Вы — товарищ полковник! Вы — товарищ полковник!”, а жена с тех пор зажила хорошо: прозрела, порозовела, стала чистить пятки пемзой.

— Вот если вы, мамыны надои, папин козодой, будете посылать меня куда попало, то я, казус белмини, скорее всего, тоже что-нибудь выкину, — закончил я свою отповедь.

Надо сказать, что Бегемот выглядел смущенным, и я, оставив его на некоторое время в этом состоянии, принялся размышлять о том, что, в сущности, в послании “в жопу” для русского народа есть какая-то особая, недоступная пока для моего понимания изюминка, как раз и вызывающая это смущение.

Видимо, смущает интонация, поскольку интонационно это послание чрезвычайно богато, то есть каждый раз неожиданно и потому ново.

Вот готовимся мы к зачетной стрельбе: сидим на ПКЗ (несколько офицеров) в каюте и кидаемся в закрытую дверь дротиками — они только появились в продаже, маленькие такие, остренькие-преостренькие, с красными перышками. Мы на двери, прямо поверх политотдельского лозунга “Ничто! Ни за что! Ни при каких обстоятельствах не может служить оправданием забубенному пьянству!”, расположили мишень и теперь бросаемся в нее дротиками и от возбуждения орем: “Десятка! Девятка!”

И врывается к нам старпом, привлеченный криками.

А старпом наш всегда врывается без стука туда, где, как ему кажется, специальная подготовка находится под угрозой уничтожения.

Дверь с треском распаивается, и дротик, пущенный чьей-то разгулявшейся рукой, глубоко втыкается старпому в грудь.

Он пробивает бирюльку “За дальний поход” и увязает в толстом блокноте, который старпом всегда носит у сердца.

Все онемели, и старпом, чувствуя, что его только что убили, именно потому что дротик торчит у него из груди, а боли он в то же время совершенно не чувствует и

на этом основании полагает, что он уже умер, медленно поворачивается и, стараясь не повредить дротик, осторожноенько выходит из каюты.

У него такое выражение, будто он выносит тазик с кобрами.

И тут ему попадается замполит, который совершенно не замечает того, какое теперь состояние у старпома и начинает говорить:

— Николаич! Я тут только что подумал и решил, что перед ракетной стрельбой нужно развернуть соцсоревнование, организовать по подразделениям прием индивидуальных обязательств под девизом: “Отличная стрельба — наш ответ на заботу...”

— Да-а и-д-и т-ы в ж-о-п-п-у! — говорит ему старпом, и глаза у него вылезают из орбит, потому что он не выдерживает такого отношения, когда он умер, а его смерть никого не интересует.

Что было после, не помню, потому что в такой ситуации, как это принято на флоте, каждый спасает только себя.

И я себя спас.

Это я помню.

Но вернемся к Бегемоту, который как раз вышел из смущения, что было видно по состоянию его ушей: из радикально красных они сделались нежно-розовыми, прозрачными на солнце, и солнце сквозь них то играло-играло, то на него набегала какая-то легкая незначительная тень.

— Слушай, Саня, — сказал мне Бегемот, — честно говоря, нам надо разбежаться. Твоя игривость меня уже задолбала. Что я тебе, мальчик, что ли?..

После чего Бегемот ушел.

Скорее всего, навсегда из моей жизни.

В его голосе слышалась горечь, а горечь — штука заразительная, и мне, разлюбленные зрители, стало плохо.

Мне было так плохо, что лучше б я налетел на столб, упал бы в люк, поскользнулся на трапе.

Лучше б меня прижало где-нибудь на погрузке чего-то железного или побило по голове.

А внутри уже обида расположилась со всеми своими пиявками.

И обжилась там...

Эх, Бегемот...

Я, конечно, не стал ему объяснять, что в той, прошлой, жизни меня трахали каждый день.

И очень умело это делали.

Словно не замечая того, что я все-таки человек.

Походя так — трах-трах.

А ты всегда как-то не готов к этому и сказать ничего не можешь, кроме всяких там “как же...” “вот...” “да я же...” “совсем не в том смысле...” и сам ты во всей этой ситуации, получается, вещь, и поэтому, когда я теперь говорю о чем-то или даже, может быть, издеваюсь, смысл совсем не в том и не там, то есть весь этот поток моих выражений не выражает тех выражений, а означает что-то элементарное, например: “плохо”, “страшно”, “стыдно”.

Так что у меня это еще с тех времен, когда меня трахали.

Да все Бегемот понимает.

Он же тоже служил.

Просто каждый, я думаю, не выдерживает по-своему, и тогда человеку нужно спрятаться куда-то, замуроваться, замазать все щели.

Да-а... Бегемот...

А мы и не будем расстраиваться.

Вот еще!

Это нам несвойственно.

Лучше мы отправимся на вручение литературных премий.

Тем более что нас пригласили.

И там уже все приготовлено: и премии, и столы, и литература.

И еще мне там очень понравилось свидетельство победы в области прозы, поэзии и драматургии.

Оно напоминало член от танка: бронзовая колонка помещалась на массивном фундаменте-елде, а наверху у нее красовался литературный ноль, свитый из лавровых листьев, и ведущий с выражением на лице "все мы любим литературу до появления слез" говорил о претендентах всякие гадости, которые, скорее всего, за неделю до этого были выдержаны им в чане сладких любезностей, а потом, перед самым представлением, вываляны в мишуре ненужных словес.

И он, как мне виделось, все время боялся, что это свойство его речи сейчас же обнаружится, и держал спину согнутой для побоев, но обошлось, не обнаружилось, потому что все ждали конца и, дождавшись, устремились к столам с едой.

"Дорогая!

Теперь будет так:
я вхожу в помещение,

расстегиваю ширинку и достаю,
а ты, опустившись на колени,
надсадно, истерически сосешь.

Потом я вытираю руки о твою голову
и улыбаюсь.” (Я думаю, это сказано о литературе.)

Они ели, как жужелицы труп жука-геркулеса.

И их руки, глаза, рты мелькали, распадались на отдельные детали и сочетались вновь, складывались вместе с едой в чудесное куролесье, чмокали и пускались вприсядку.

Они жрали все это так же, как и свою разлюбезную литературу, высасывая мозговые косточки, не забывая о корзиночках и тартиночках, совершенно не беспокоясь о беспрестанно падающих крошках, копошась и отрывая то, что не способны переварить.

Там было несколько особ высокого литературного рукоделья, периодически паразитировавших на свежесгнивших телах гениев и корифеев, которые — особы, конечно, — так же, как и все остальные, демонстрировали необычайную легкость перехода от потрясений литературного толка к потрясениям существа, употребляющего соленые брюшки семги.

Там были жены от литературы и дети от литературы.

Там были даже прадеды, которые еще не дети, но, вполне возможно, пописав, станут детьми в прошлом или в будущем.

Там были даже гады от литературы, а также недогады — черви и мокрицы.

И там был я.

И чего я там был — никто не знает.

Скорее всего, я был там из-за Бегемота — нужно ж было себя на время куда-то деть.

И все-таки Бегемот — ублюдина.

Толстая скотина, крот брюхатый, черно-белый идиот, поскребыш удачи.

Обиделся он, видите ли, на то, что я сказал 33 страницы назад.

Ах, как вовремя он это сделал!

Ну и что, что я сказал?!

Мало ли о чем я вообще говорю.

Может, я не могу не говорить?

Может быть, если я не буду болтать, то я не смогу находиться с вами на одной планете.

Может, мне противно будет с вами находиться.

Может, вы меня тоже задолбали.

Может, вы все, абсолютно все — знакомые, полужнакомые, совсем незнакомые — уже давно проникли в меня, влипли, влезли, привязались, растащили меня по частям. Кому досталась моя голова, и он рад чрезвычайно; кому — сердце, а вот тот, рыжий, смотрите же, он это, он, — увел мой желудок, а этому досталась печень.

И вот уже я не существую.

Я не принадлежу себе.

У меня внутри ваши связи, шнуры, провода, и общаются мои части исключительно при вашем милом посредничестве: “Извините, пожалуйста, но не сможете ли вы передать, что мне на такое-то время понадобилась моя селезенка...”

Фу, сука...

Следует отвлекаться.

Проветрить, знаете ли, ум, восстановить равновесие души.

А для полноты восстановления душевного равновесия придется рассказать самому себе чего-нибудь, какую-нибудь историю из жизни знаменитости.

Например, такую: однажды жена (знаменитости) говорит ему: "Ты должен побрить мне промежность. Я там сама ничего не вижу".

А он ей отвечает: "А если не побрею? Представляешь, через какое-то время иду я, а рядом со мной катится волосатый шар, и шар мне все время говорит: "Побрей меня! Мою промежность! Видишь, как вырослась! Невозможно же! Сколько говорить можно! Я говорю — я слышу!"

После этого нужно пропеть частушку:

Как на Курском на вокзале,
Три мизды в узел связали,
Положили на весы,
Во все стороны усы.

И все! Равновесие восстановлено.

А чего я, собственно, переживаю насчет Бегемота?

Да пусть катится на все четыре.

Пусть уморит кого-нибудь, взорвет полмира.

Он же с инициативой, идиот, он же с выдумкой, он же с танцами.

Он же приплясывает, если изобретает вместе со своим Витенькой какой-нибудь очередной дематериализатор.

А потом он помчится его демонстрировать, вот тут-то все и поплачут изумрудными слезами, а меня рядом не будет, чтоб собирать в коробочку эти слезки всего прогрессивного человечества.

Вот и отлично.

Дуралей, вот дуралей!

Он же без меня сейчас же выкрасит и продаст обычную ртуть под видом красной.

И ее повезут с риском обнаружения через три границы, бережно прижимая к себе, чтоб по дороге, не дай бог, не взорвать.

Ему же уже делали предложение относительно изобретения сверхмощного взрывного устройства, и он пришел ко мне с глазами мамы Пушкина, полными от жадности слез:

— Саня... это миллионы!!!

Арабские эмираты...

А потом была карманная лазерная пушка и еще одно милое изобретение — смажешь им на ночь входную дверь, и ровно через десять суток она взрывается.

Господи, сохрани придурка!

Он же сварит чего-нибудь у себя на кухне.

Тут уже получалась одна занятная штуковина: при приеме ее внутрь можно ненадолго изменить свою внешность: отрастить, например, себе чудовищные надбровные дуги.

А покушал другой отравы — и порядок, все восстанавливается. Составляйте потом словесные портреты.

Ехала рыдала,
падала икала...

Эх, Бегемотушка! И чего это ты со мной поссорился? Может быть, это страх? Знаешь, бывает иногда та-

кой необъяснимый страх: просыпаешься и боишься. Сам не знаешь чего.

Ты чего испугался, глупенький? Приснилось что-нибудь или жизнь придвинула вплотную к лицу свою малоприятную морду? Так ты ее по сусалам!

Ты куда кинулся от меня, губошлеп несчастный! А кто будет охранять вам спину, доделывать за вас, долизывать, домучивать?..

Та-ак, ладно, хватит! Бегемот Бегемотом, но скоро нужно будет что-то кушать.

Тут недавно Петька Гарькавый, лучшим выражением которого на всю жизнь останется: “Вчера срал в туалете стрелами Робин Гуда”, предложил заняться европоддонами.

А может быть, действительно, хватит относиться с презрением к отечественному сухостою (то есть, к дереву, разумеется, я хотел сказать)?

И займусь я, к общей радости, этим малопонятным дерьмом, основным показателем которого, как мне кажется, является сучковатость, то бишь количество сучков на квадратном метре.

Или можно переправлять за рубеж сушеный яд несуществующих туркестанских кобр.

Кобры в серпентарии на границе империи от бескормицы в связи с недородом мышей давно сдохли, но яд сохранился, поскольку его заранее надоили.

Оттуда уже приезжали два орла с блеском наживы в глазах, источали от жадности зной.

Так что не пропадем, я думаю, и без вас, дорогой наш Бегемот...

Хотя, надо вам признаться, временами совершенно ничего не хочется делать, не хочется мыслить-чувствовать-говорить и сочинять верлибры; и тогда самое время отправиться на выставку современного искусства, где, уставясь в засунутые под стекло приклеенные вертикально стоптанные бабушкины шлепанцы, подумать о том, сколько все-таки наскоро сляпанной жизни проносится мимо тебя.

И как, видимо, хорошо, что ты до сих пор не сиротствуешь, не шьешь разноцветные балахоны, не одеваешь их то на себя, то на жестяной куб.

И как все-таки здорово, что ты не воешь собакой, не собираешь с полу воображаемый мусор и не кусаешь входящих у дверей.

А ведь ради разнообразия можно было и покуролесить: полупоглазить совой или поухать филином, побить головой в тимпан или покакать мелкой птахой.

Или можно покашлять под музыку, поухать, повздыхать, пообнимать разводы ржавчины на сгнивших стенах, попржиматься к ним беззащитной щекой, а потом спросить у публики детским голоском: “Мама, это не больно, правда?” — и все будет принято, потому что искусство, пипись оно конем.

Да... я тогда долго переживал, но потом как-то выбросил Бегемота из своей памяти.

Знаете, оказывается можно все-таки выбросить человека из памяти.

Главное — не думать о нем.

Только тебя занозило, задержало, только ты снова начал с ним разговаривать, бормотать ему что-то о своих обидах, как тут же следует придумать что-нибудь веселое:

например, как было бы хорошо, если бы тебя назначили принцем Монако, если, конечно, в Монако сохранились принцы.

Да-да, я почти забыл о Бегемоте, или, во всяком случае, мне так казалось до того момента, как мне позволила его жена.

... она мне что-то говорила...

Из всего я запомнил: что его внесли домой какие-то люди, он был весь в колотых ранах, но еще жив.

Знаете, я всегда считал себя нечувствительным человеком, а тут вдруг под рубашкой стало мокро от пота и душно, душно...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Метаболизм

Можно начать так.....	11
Метаболизм.....	12
Демидыч.....	14
Между прочим.....	16
Валера.....	16
Пересчет зубов.....	19
Идиллия.....	21
Педикюр.....	22
Любовь и государство.....	23
Вот они.....	25
Сцена.....	26
Утренние сумерки.....	27
Клоун.....	29
В район Гельсингфорса.....	30

Воспоминания о балете

Держись, лейтенант.....	41
Капитан.....	45
Проверка.....	50
Молодое пополнение.....	51
Найда.....	57
Люстра.....	59
Нельзя без шутки.....	62
Зерно ломбардное.....	63
Дежурное тело на старте.....	64
Рио-де-Жанейро.....	72

Как там страна

Где я только не ночевал.....	81
Маэстро.....	82
О козырьке.....	86
По поводу предыдущего рассказа.....	87
Как там страна?	89
Каюта.....	91
Тяжкий случай.....	92
Сынок.....	94
Скотовозы.....	97
Когда приходят великаны.....	99
Веня.....	100
На бретельках	102
На Хамское поле.....	103
С утра.....	105
Неинтересно как-то.....	106
Шутки богов.....	108
"Два ще".....	111
Как пишется рассказ.....	125

Бегемот

Бегемот.....	131
--------------	-----

Покровский А.

П 48 БЕГЕМОТ: рассказы и повесть. — СПб.: ИНАПРЕСС,
1998. — 224 стр.

ISBN 5-87135-055-0

В новой, четвертой книге писателя А.Покровского читатель встретит новых и старых героев, застрявших в воронку нынешней жизни. Как они справляются с бурными испытаниями, что противопоставляют натиску времени — об этом повесть "Бегемот".

Острое слово, искрометный юмор, фразы, становящиеся поговорками, — стилиобразующие особенности прозы А.Покровского, делающие чтение книги самым настоящим удовольствием.

Предыдущим книгам писателя ("Мерлезонский балет", "...Расстрелять!", "Расстрелять, часть вторая и другие части ") сопутствовал большой читательский успех, искренний интерес и одобрение литературной критики.

В новой книге читателя ждет не только иная канва повествований, но и обновленный, фонтанирующий язык, достигающий порой плотности и выразительности стихового.

Александр Покровский

БЕГЕМОТ

Редактор Н.Кононов
Художник М. Покишишевская
Корректор Е. Владыкина

Сдано в набор 4.02.98. Подписано к печати 27.03.98.
Формат 84X108/32. Гарнитура "Лазурского".
Печать офсетная. Усл.печ.л. 11,86. Уч.-изд.л. 11,27.
Тираж 5000. Заказ 3581.

Издательство ИНАПРЕСС, Санкт-Петербург, Невский пр.,74.
Лицензия ЛР №062759 от 21 июня 1993г.

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, С.-Петербург, 9 линия, д. 12



В новой, четвертой книге А.Покровского читатель встретит новых и старых героев, затянутых в воронку нынешней жизни. Как они справляются с испытаниями, что противопоставляют натиску времени — об этом повесть "Бегемот".

Острое слово, искрометный юмор, фразы, становящиеся поговорками, — стилеобразующие особенности прозы писателя, делающие чтение книги настоящим удовольствием.

Предыдущим книгам писателя:
"МЕРЛЕЗОНСКИЙ БАЛЕТ",
"...РАССТРЕЛЯТЬ!",
"РАССТРЕЛЯТЬ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ
И ДРУГИЕ ЧАСТИ "

— сопутствовал большой
читательский успех.